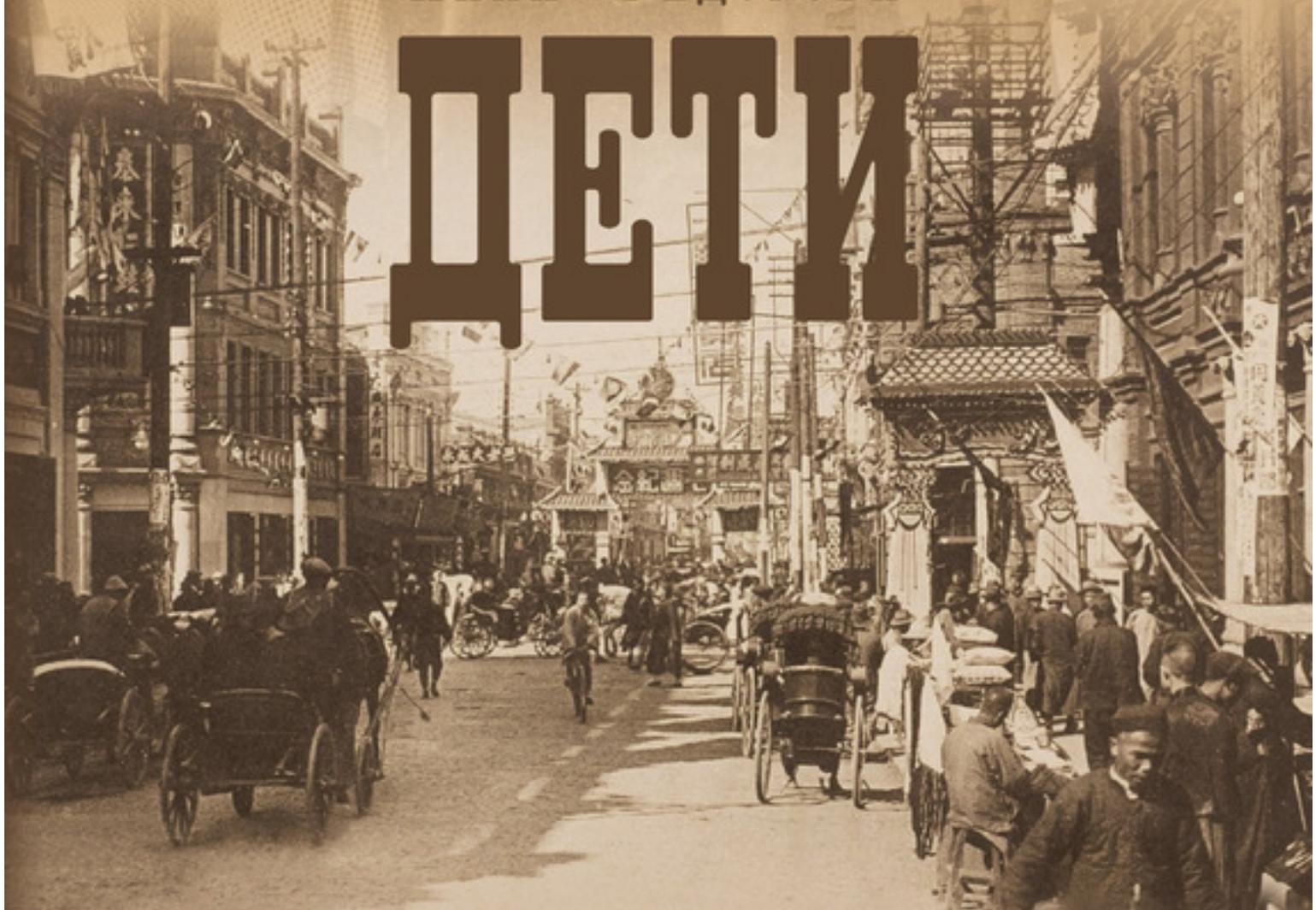




НИНА ФЁДОРОВА

ДЕТИ



Нина Федорова

Дети

«Православное издательство “Сатись#»

1958

Федорова Н.

Дети / Н. Федорова — «Православное издательство
“Сатись#», 1958

ISBN 978-5-7868-0097-6

Эта удивительная книга рассказывает о вере и стойкости, о духовной жизни и открытости к людям, о патриотизме и о любви. Роман «Дети», продолжение романа «Семья», был издан в 1958 году во Франкфурте-на-Майне, в Германии.

ISBN 978-5-7868-0097-6

© Федорова Н., 1958
© Православное издательство
“Сатись#, 1958

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	31
Глава седьмая	34
Глава восьмая	40
Глава девятая	42
Глава десятая	46
Глава одиннадцатая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Нина Федорова Дети

© Н. Федорова, текст, 1958

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2016

* * *

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

Часть первая

Глава первая

- Есть у вас дети?
- Шестеро.
- Шестеро...

Леди за прилавком даже вздрогнула от негодования. Она посмотрела на мать шестерых детей, и во взгляде ее вспыхнула внезапная враждебность. Желая поделиться своими чувствами, она обратилась к другой леди, – справа, тоже за прилавком – и голос ее приобрел странное свойство: одни ноты в нем были чрезвычайно почтительны к леди, тогда как другие звучали намеренным оскорблением по отношению к матери стольких детей.

– Миссис Браун, вы слышали? *Шесть* человек детей. Что это: эгоизм или глупость? – плодovitость низших организмов, – равнодушно ответила миссис Браун, занятая проверкой отчета благотворительной секции клуба.

– Но как же мы можем помочь беднякам подняться из нищеты, если они будут, как эта, рожать по шестеро детей? – еще раз громко воскликнула мисс Грауз.

Она знала, что не должна была бы так говорить с незнакомой бедной женщиной, но не удостаивала быть осторожной. К чему? Между ними лежала пропасть. Стоя, фактически, не за прилавком распродажи старых вещей беднякам, а на высоте, какую в обществе дает богатство и английский паспорт, мисс Грауз была недосягаема. Привычка оскорблять тех, кто не может защищаться, прививается соблазнительно быстро – и мисс Грауз в заключение добавила:

– Единственное, что мы должны бы давать беднякам, это – средства для контроля рождаемости.

Мисс Грауз была продуктом своего времени, воспитания и класса.

Она уже сложилась в тип. Она – однолика, но многочисленна. Это – перелетная птица. Она плавает на пароходах, ездит по железным и электрическим дорогам, летает на аэропланах и, конечно, везде и всегда имеет еще и свой автомобиль. Она – не предвестник несчастья, она – его последствие, последняя глава и эпилог. По виду – она суха и тонка, по цвету – бесцветна, по паспорту – девица, хотя всегда жестоко помнит кое-какие тяжелые эмоциональные потрясения. По должности – она всегда секретарь и часто на жалованьи.

Она появляется на любом из пяти континентов – после великих несчастий и бедствий – войн, битв, наводнений, землетрясений, чумы – но появляется позже этих событий, когда уже не опасно – люди убиты, трупы похоронены, произведена дезинфекция. Впрочем, лично ей ничто и нигде не грозит; она защищена всеми интернациональными законами, и если иногда и погибают в таких странах и при таких несчастьях торопливые любители-фотографы или нетерпеливые собиратели сувениров – случая еще не было, чтобы погибла мисс Грауз. В доказательство вы увидите ее портрет в любом журнале любой страны, где есть международная конференция или другое что в международном значении – восхождение на трон, похороны великого человека, или массовые – малых. Ищите ее несколько подалеже от центрального плана – не в гробу, не на троне – подалеже, и она оттуда улыбнется вам своей нечеловеческой официальной улыбкой. Вы всегда ее найдете и при факте международной помощи пострадавшим. Она раздает, или продает, или распределяет вещи или пищу, присланные другими людьми. Она же – последняя инстанция международной благотворительности, последнее воплощение цивилизованной любви к ближнему.

Сегодня она продает старые вещи, собранные клубами иностранных дам в Тяньцзине. Вещи продаются бедным и дешево, а деньги, собранные от этих бедных, потом пойдут другим бедным, тоже в городе Тяньцзине. Мисс Грауз действует сегодня в качестве продавщицы.

Едва она произнесла слова о контроле рождаемости, ее глаза встретили взгляд покупательницы. Ненависть сверкнула в тех глазах, тем более поразительная, что глаза эти – светлые, ясные – глядели с усталого и доброго женского лица.

– Каким это образом число моих детей так близко касается *вас*? – спросила бедная покупательница, и ее голос прерывался от волнения.

– Каким *образом*? – вскричала мисс Грауз, и та же ненависть сверкнула и в ее глазах и зазвучала в голосе. – Мы – благотворительная организация. Это – благотворительный базар. Вы нуждаетесь, мы помогаем. Здесь, у меня, вы покупаете нужные вам вещи за бесценок. Вырученные деньги мы раздадим другим беднякам Тяньцзиня. В интересах *статистики* хотя бы, имеем ли мы ваше милостивое разрешение спросить, сколько у вас детей. Помогая вам... улучшить ваше экономическое положение...

– Вы *помогаете* мне? Этим? – и женщина рукою показала вокруг себя.

Существует ли более отталкивающее зрелище, чем распродажа ношеного платья, если вещи, действительно, старые, рваные, грязные?

Оглянув комнату, и сама как бы удивляясь, как бы видя ее в первый раз, женщина остановила свой взгляд на вещи, которую она держала в руке. Это была пара стареньких детских башмачков. Они были сильно поношены. Полинялые, стоптанные с дырочками на носках. Десять центов.

Она смотрела на них теперь пристальным, испытующим взглядом. Где-то существовал таинственный благодетель, кто отдал эти ботиночки – и в них она искала разгадку человеческой бедности и благотворительных базаров. Ее взгляд смягчился: ей представился ребенок, носивший эти ботиночки. Она вдруг вздрогнула, медленно положила их обратно на прилавок, в кучу других таких же вещей и, глядя прямо в глаза мисс Грауз, сказала печально и просто:

– Пройдет несколько лет, и вы и эти леди-патронессы будете стоять здесь, *по эту сторону* прилавка.

– Что?

Миссис Браун, председательница общества, медленно и тяжело поднялась от своей книги:

– Пошла вон! – крикнула она и подняла свою полную тяжелую руку. Рука эта не была вооружена, но женщина, стоявшая за прилавком, пошатнулась, как бы от удара, а бледная высокая девочка, стоявшая рядом, схватила ее за платье и испуганно зашептала по-русски:

– Мама! Уйдем!.. Мама, скорее уйдем!..

Казалось, вся комната вдруг наполнилась горячей злобой. Глаза – и покупательниц и продавщиц – вспыхнули взаимной ненавистью. Тут были почти только женщины. Возможно, по натуре ни одна из них не была ни злой, ни жестокой, но мир давно уже жил враждою и страхом, и отдельный человек часто уже не мог устоять, оставаясь самим собою.

– Пошла вон! – еще раз крикнула миссис Браун, задыхаясь от гнева и высоко держа свою вытянутую, начинавшую дрожать руку.

И затем комната наполнилась напряженным молчанием. Все насторожились, – и все молчали. Все испугались не слов, а того большего, что не было высказано, но что жило и разделяло людей. Многие не знали, в чем дело, только слышали это гневное, задыхающееся:

«Пошла вон». Но эти два слова всколыхнули всю ненависть – к расе, бедняка к богачу и обратно, человека к человеку вообще.

В наступившей тишине был слышан испуганный шопот:

– О, мама! Уйдем... она может побить нас! – И под взглядами всех присутствующих мать и дочь пошли к выходу.

Вдруг, с другого конца комнаты, молоденькая девушка, высокая и стройная, быстро кинулась к прилавку миссис Браун, и, став прямо перед нею, с негодованием крикнула ей в лицо:

– Вы обидели!.. – а затем, сама испугавшись своей смелости, кроткая по природе, она осеклась и упавшим голосом тихо прибавила:

– Вы не были совершенно правы, – Ее голос дрогнул. Она быстро повернулась и побежала вслед за ушедшими.

И сейчас же в комнате поднялся шум голосов. Сильнее всех был слышен голос госпожи Климовой. Плохо зная английский, она поняла, однако, возглас миссис Браун «Get out!», но не разобрала, кого прогоняли и за что, как не поняла и того, что сказала миссис Браун молодая девушка.

– Лида! – крикнула она ей вслед, и голос ее был полон возмущения. В жизни, при всяком столкновении, мадам Климова без колебаний брала сторону сильного, и настоящим возгласом и тоном она торопилась выразить свою моральную солидарность с благотворителями.

Некоторые из покупательниц – это были, большей частью, бедные русские женщины, – в знак молчаливого протеста ушли. Одна из них остановилась на пороге и сказала вслух, собственно, ни к кому не обращаясь:

– Места не осталось на земле, где бы не кипела ненависть между людьми.

Между тем, мисс Грауз заговорила голосом обиженной невинности и справедливого негодования. Она была социологом по образованию. Она окончила колледж по отделению социальных наук. Она знала, каким должно быть идеальное социальное устройство. Ее отношение к людям было лишено личного интереса, она не искала себе выгод: ей было достаточно места на земном шаре. Но проблема перенаселенности планеты волновала ее, не давала ей спать. Изобилие детей для нее – понимающей положение – было личным вызовом. Она не могла согласиться на большее, чем трое детей в семье. Простой вопрос статистики. Но дети ежеминутно рождались. Они бегали по земле сотнями, тысячами, миллионами. Они выглядывали во все окна, двери и щели, изо всех жилищ. Они шли в школу и обратно, шумели на улицах, бросались камнями из-за углов, рылись в навозных кучах, хотели есть, просили милостыню. Строго говоря, они не знали даже, что каждый четвертый ребенок – и дальше – уже не имеет права на жизнь.

Это было опять-таки бескорыстное негодование: мисс Грауз не родила ни одного ребенка и в будущем не предполагала его родить. Значит, не для себя она старалась. Но кто-то должен же подумать о том, что земной шар почти перенаселен, земля истощена, все меньше остается металлов и минералов, горючих веществ для автомобилей. Правда, есть оптимисты, но, как и все оптимисты, они глупее пессимистов; во всяком случае, менее практичны. Они говорят: на каждого человека теперь приходится 2 акра обработанной земли и шесть необработанной. Но те шесть акров могут же оказаться непригодными для земледелия – что тогда?!

Миссис Браун, воплощение здравого смысла, прервала ее монолог:

– Об этом рано думать сегодня, – и заключила инцидент словами:

– Будьте готовы ко всякой дерзости там, где оказывается помощь бедным.

Миссис Браун была первой дамой этого китайского города. Все остальные дамы прозябали в ее тени. Это она написала книгу «Китай и Я». Это она была почетной пожизненной председательницей всякого общества, в которое она удостоивалась вступить. Ее всегда, к тому же, избирали единогласно. О ней никто не решился бы сказать дурного слова, даже шопотом, даже в ее отсутствии, во всяком случае, в этом китайском городе и в этой провинции.

Ее знали все. Она украшала своим присутствием все празднования всех исторических дат и политических событий в городе. Она давала тон, как и о чем судить.

Нести социальную работу, по ее словам, было долгом культурного человека, и этим она занималась уже тридцать лет на истощенной земле Китая. Как и многие другие жены других банкиров, она не придавала большого значения деньгам, и то, что бедняки, как один, предпочитают деньги разумному совету, она считала доказательством моральной тупости масс. Она же сама понимала, что духовные сокровища выше материальных, и превыше всего – собственное достоинство и душевное спокойствие. По ее духовной и физической конструкции ей достигнуть их было совсем не трудно. Как на доказательство, можно указать на то, что, прожив тридцать лет в Китае, где население перенесло не раз чуму, войну, наводнение, голод – она и не обеднела нисколько и не потеряла унции в весе. Наоборот, чем больше она давала Китаю, тем больше она богатела и полнела. Чем больше страдало человечество, чем более оно запутывалось в сложностях жизни, тем более полной становилась жизнь и деятельность миссис Браун. Открывались всё новые и новые общества, всё больше было благотворительных распродаж старых вещей, и всё большие толпы приходили их покупать. Всё больше устраивалось концертов, лотерей; всё больше посылались телеграмм и писалось воззваний, – и везде нужна была ее подпись. Но миссис Браун быстро выходила из всякого затруднения. Вот и сейчас она стояла за прилавком – большая, высокая, полная, сильная – монолит! – в платье вишневого цвета, отделанном маленькими круглыми пуговками, блестящими, как фонарики. От нее исходили самоуверенность, сила, как от боевого генерала, не знающего поражений.

Мистер Райнд, американец, путешественник, почетный гость, не уловил, в чем была суть мимолетно вскипевшей и угасшей сцены. Как все путешествующие американцы, полный любопытства – «В чем дело? Что это было?» – обращал он вопросы ко всем дамам, во все стороны. Один взгляд миссис Браун приморозил все языки, готовые было рассказать о событии. Температура уже снизилась до нормальной, – и снова это была обычная комната магазина, снятая на день для благотворительного базара, и дамы: богатые – по одну сторону прилавка, бедные – по другую. Рана человеческих страстей затянулась. Казалось, что она и не была открыта на тот один миг. Всё забылось, и все успокоились.

Даже и мадам Климова, горячо выразив свое негодование и этим дав понять, что, хотя и заброшенная горькой судьбой по сию сторону прилавка, она была рождена там, где дамы-патронессы, и духовно не отделилась от своего класса, – даже мадам Климова успокоилась и занялась покупкой. Это было нелегкое дело. Она покупала венчальное платье. Да, венчальное платье. Да, для себя. Жених – генерал; свадьба – в воскресенье, в церкви. Через неделю называйте – «генеральшей». Увы! увы! Что это было бы при старом режиме!.. Но, всё же, и теперь – много ли женщин на свете, кто вышел замуж за генерала? Что же касается дорогого героя, покойного Климова – поверьте, он будет только радоваться, лежа в своей могиле: его вдова «не вышла из сословия», не унизила имени, как сделали многие другие русские дамы.

Странно, но на благотворительном базаре вы никогда не найдете приличного венчального платья. Приходилось уже просто искать что-либо «веселенькое», светленькое, женственное, полупрозрачное, легкое, в оборочку. Но и здесь – увы! – еще одно затруднение: на такой распродаже обычно вы найдете лишь платья очень тоненьких женщин, малого размера. Значит ли это, что полные дамы экономнее тонких, никому не отдают своих вещей, – или же есть этому какие-либо другие причины? То же самое с обувью, бельем и шляпой.

Размер сузил, сократил возможности выбора для мадам Климовой. Она заплатила доллар двадцать центов за самое большое платье, какое нашла, и, желая быть приятной, «умея уйти», поблагодарила миссис Браун, добавив с участием, намекая на бывшую сцену:

– Некоторые русские еще хуже китайцев. Когда китаец беден, он боится и уже не кричит.

Миссис Браун не удостоила ее ответом. К тому же она не понимала по-русски.

Глава вторая

Белокурая девушка, которую мадам Климова назвала Лидой, выбежала из магазина в растерянности и смущении. Пробежав несколько шагов, она остановилась и быстро оглянулась по сторонам, ища куда ушла обиженная русская дама.

Октябрьский ветер хлопотливо подметал пустынную улицу, за одно уж обрывая и последние, сухие листья с деревьев. Было как-то необыкновенно уныло. Казалось, и улица, и дома, и рикши, кучкою сидевшие на тротуаре – все больны, недовольны, несчастны. Вдали плелись две женские фигуры. Лида побежала за ними, и ветер, налетев на ее непокрытую головку, развевал, разметал ее белокурые волосы, подымая их, бросая волной на глаза, и они – легкие и золотистые, – были единственным светлым пятном на общем сером фоне. Лида бежала, а они неслись за нею, как легкое пламя свечи.

Догнав незнакомую даму, Лида застенчиво заговорила с нею:

– Могу я познакомиться с вами? Я вижу, вы недавно здесь. В Тяньцзине все русские знают друг друга, если даже и не знакомы. Наш дом здесь близко, тут же на Британской концессии. Пожалуйста пойдите к нам, и вы у нас отдохнете. Мама дома и будет рада. В это время мы всегда пьем чай.

Хотя Лида и ее мама были все, что осталось от их семьи в Китае, они не оставили привычки говорить о себе в том же, несколько высокопарном тоне, как когда-то, поколениями, говорили их предки: мы, наша семья, наш дом. Увы! В настоящее время – «мы» значило, что их двое, а «домом» являлось ранее нежилое, маленькое помещение на чердаке, которое им предоставила бесплатно испанская графиня.

Дама не сразу ответила на приглашение Лиды.

– Но, возможно, ваша мама занята, – сказала она, наконец.

– О нет! – ответила Лида, сияя улыбкой. – Совсем нет! У мамы сегодня самый легкий день: она совершенно свободна.

Приглашение было очень заманчиво. Дама – г-жа Платова – и ее дочь Галина приехали в Тяньцзинь рано утром и должны были уехать в полночь. У них не было денег, чтобы снять комнату в отеле, и они проводили этот день – холодный и ветреный – расхаживая по городу. Они уже очень устали.

– Но вы уверены, что ваша мама ничего не будет иметь против? Что мы ей не помешаем?

– Конечно, конечно, – уверяла Лида. – Мама дежурила ночь в госпитале, и теперь у ней весь день свободен и вся ночь. И она уже выспалась. Правда. Вы увидите, что она будет вам рада. Пожалуйста, пойдите к нам! Вот тот – наш дом.

А сама, между тем, в уме быстро считала:

– Пять булочек – тридцать центов, молока и масла... на сорок центов, чай есть, сахар есть... и тридцать центов на сыр – ровно доллар! – и она сжимала в кулачке этот доллар, уговаривая себя: Ну, и не куплю светра. Обойдусь. Все равно, мне уже никак нельзя вернуться на распродажу – наскандалила.

– Что ж, – решила г-жа Платова, – когда так, то, пожалуй, зайдем к вам на минутку. И спасибо большое за приглашение.

Лестница на чердак была и высока, и темна, и узка. Г-жа Платова задыхалась, останавливалась. Но дверь в комнату на чердаке распахнулась быстро и весело, и гости были встречены радушно, как друзья, как родные.

Бедность победоносно, вызываяще глядела из каждого угла. Она властвовала, она царила здесь. Как палач, не знающий стыда, она казнила открыто, не стесняясь, даже хвалясь своим метким ударом, верной рукой. Она затемнила окно вместо штор; полы и стены

вместо ковров и обоев. Она отполировала посуду и мебель и обесцветила всю одежду. Как пыль, она отдыхала на карнизах и стропилах, а в хорошую погоду кружилась, танцевала в единственном, проникавшем на чердак, луче света. Ею дышали. С ней жили. Она въедалась не только в стены и вещи, но и в людей, в их мозг, в их сердце. Это она научила молчать, шагать осторожно и отвечать благоразумно. Но и так человек всё же не кончен. Она въедается глубже, в тайники, где хранятся честолюбивые мечты, никому не высказанные надежды. Она разбивает их, дробит их в пыль. И если тут зашатался человек, она хлопотливо роет ему преждевременную могилу.

И все же и с ней можно жить. С ней можно жить, как уживается мужественный больной с тяжелым хроническим недугом.

И вот именно в этой комнате гости сразу почувствовали себя дома.

Они все, как гости, так и хозяйки, были одеты в платья, у которых и цвет и рисунок давно поблекли, расплылись в странные оттенки и очертания, как поблекли и многие их ожидания, дорогие сердцу мечты, верные планы на лучшее будущее. Все, что осталось в одежде, была основа, ткань, нитка за ниткой, как в жизни – дни и ночи, ночи и дни; но и это вынашивалось, чтобы разорваться однажды и превратиться в ничто.

Пусть всякий цвет блекнет в серый в жилище бедняка, доброта обладает тайным внутренним светом, тихим, теплым и золотым: и гости и хозяйки радостно приветствовали друг друга.

Девушки пошли вниз, в подвал, где можно было пользоваться кухней. Стали готовить там чай. Между тем матери, на чердаке, уже начали сердечный разговор. Г-жа Платова, волнуясь, рассказывала об инциденте на благотворительном базаре. Но вспышка гнева в ней угасла. Она сожалела теперь о том, что говорила резко с богатыми иностранными дамами. Она как бы пыталась оправдаться.

– Тяжело выносить матери упрёки в том, что она имеет якобы «лишних» детей. Эти научно мыслящие люди полагают: раз нет у кого дома и денег, – нечего иметь и детей. Но, возможно, именно потому, что нет у нас ни родины, ни дома, ни денег, – мы так привязаны к нашим детям. Им мы отдаем всю любовь, на какую способны, и которую нам уже нечему другому отдать. И, странно, чаще всего именно бездетные люди стоят за контроль рождаемости. Вдобавок, это – люди обеспеченного класса, беспокоятся о перенаселенности нашей планеты, словно им уже тесно на земле. А вот вспыхнет война, и это наши дети – лишние и нелишние – все пойдут умирать, защищая бесплодное существование тех, кто детей не рожал.

– Вы сказали – «война», – мягко перебила хозяйка. – Разве уже есть основание думать, что скоро опять будет война? Кого и с кем? Мы не выписываем газет, новости политические знаем по слухам. Это соглашение в Мюнхене – что оно означает для будущего Европы?

Но гостя как бы не слышала вопроса. Она держала в руках свою сумку, смотрела на нее, и из глаз ее капали слезы.

– У меня было семь человек детей, – сказала она, продолжая свою мысль, – но Лизочка умерла. Я потеряла Лизочку. Умирала она в тяжких страданиях. Ах, бедность, бедность... Вы знаете, что такое бесплатная больница для детей в Китае. Лизочке шел пятый год... И вот больно ей, хочет забыться, а игрушек не было. Она, бывало, попросит:

– Мамочка, дай мне твою фумочку. Я поиграю... – Она плохо еще говорила. Вот эта моя сумка тогда была еще новая, блестящая – мне подарили. Обнимет она ее, прижмет к груди, – как куклу, и шепчет: – Фумочка, фумочка... – Три года прошло, а как вспомню, глядя на эту сумочку... Ничего нет на свете горше смерти ребенка. А с их научной точки зрения – у меня еще три «лишних» ребенка. И вот я плачу о Лизочке, а для них это, может быть, даже космическое зрелище: оплакивать седьмого ребенка.

Между тем Лида и Галя уже вносили чай.

Правильное питание, то есть, в такие-то часы, столько-то раз в день и постольку-то калорий, давно уже забыто в этой семье. Чай и хлеб служили основой питания; что-нибудь еще могло «случиться», но не обязательно, не всегда. Чай согревал, хлеб наполнял желудок – внешние признаки питания налицо, – и достаточно.

И все же «семья» сохраняла свой стиль. Булочки были аккуратно разрезаны, каждая на четыре части, и красиво положены на тарелку. Масло и сыр с достоинством покоились на стеклянном блюдечке. Чай разливался внимательно и подавался с улыбкой, а сахар, казалось, был даже в избытке. Молоко в маленьком кувшинчике продвигалось беззвучно за каждой чашечкой чая.

Как необыкновенно вкусен чай в холодный и ветреный день октября! Только за второй чашкой возобновился разговор, и чаепитие пошло более медленным темпом.

Лида и Галя пили чай у окна, на подоконнике, так как за маленьким столиком, сделанным из ящика, для четырех не было места.

Молоденькие девушки подружились сразу, и уже шопотом рассказывала Лида гостье чудную историю своей «великой любви». В обеих девушках было то, что особенно трогательно в бедняке – «чудесный дар мечтаний», способность создавать иллюзии и верить им.

Но как трудно, как невозможно в словах рассказать о великой любви! Что выходило? История принимала, приблизительно, такую форму:

Жил-был молодой американец в Тяньцзине. Он был самый хороший американец и самый хороший молодой человек во всем мире. Его звали Джимом. Лида познакомилась с ним. Они полюбили друг друга. Он подарил Лиде часы, вот эти, у ней на руке: «Ты посмотри, какая прелесть». Джим должен был уехать в Америку учиться в университете. Лида осталась в Китае. Они поклялись любить друг друга навеки. Они пишут друг другу письма.

И только. И это было всё. В словах терялась магическая прелесть чувств и радостный образ событий. В словах история «великой любви» выходила похожей просто на историю какой-то неважной, обычной любви, как будто бы она была и не Лидина, а чья-то на стороне. Но и рассказанная так, она глубоко захватила внимание Гали, у которой не было собственной истории любви. Слушая, она по временам издавала такие восклицания, будто ей рассказывали о невероятных, о чудесных событиях.

Матери были глубоко погружены в свой разговор.

– Сколько у вас детей? – спрашивала гостья.

– Детей? – ее собеседница повторила медленно, и сложила руки, сжав их крепко одну другою, как бы замыкая, сдерживая в себе какое-то глубокое чувство.

– Детей, – повторила она еще раз, как бы проверяя что-то, – Лида – мой единственный ребенок. Но когда-то мы были большой семьей. Одни умерли, другие покинули нас.

– Вы вдова?

Мать Лиды еще сильнее сжала пальцы.

– Нет, сказала она. – Отец Лиды живет в России.

– В России? – голос гостьи зазвучал живым интересом. – Как он там живет? Старается обратиться в Китай, или вы думаете вернуться к нему?

– Ни то, ни другое, – она разжала, наконец, руки и спокойно начала рассказывать: – Отец Лиды покинул нас навсегда. Он женился во второй раз. У него – дети от второго брака. Два славных мальчика.

Это было сказано спокойно, просто, но гостья почувствовала себя очень неловко и поспешила переменить тему.

– Расскажу вам о себе, почему это мы оказались сегодня в Тяньцзине. Мой старший сын Владимир живет в Шанхае, мы живем в Харбине. Володя имеет работу – играет на скрипке в ночном клубе. Он посылает нам 40 долларов в месяц, это оплачивает нашу квартиру в Харбине. И вот всё-то время душа моя не спокойна. Ночной клуб! – думаю я – подходящее

ли это место для мальчика? Володе всего 21 год, и жил он всегда в семье. А там – что он увидит? Чему научится? Говорят, в ночных клубах все музыканты делаются пьяницами. Они должны играть всю ночь напролет – сначала чашка черного кофе для бодрости, потом – стакан пива, а дальше – вино. Да и гости спаивают, угощают вином, кто хорошо играет. А Володя играет прекрасно: без слез не могу слушать... И другое горе – эта моя девочка Галя, – и она показала глазами на дочь у окна. – Вы заметили, какая она бледная. Она больная. В беженстве случилось – ушибла спину. Лечить и тогда не на что было. Начались у ней постоянные боли. Доктор в Харбине твердит одно: поезжайте в Пекин, в Рокфеллеровский Институт. Там сделают снимки, тогда видно будет, как лечить. Хорошо. Но, вы знаете, на это нужны деньги.

– Да, на это нужны деньги, – согласилась хозяйка.

– Наконец, скопили, собрались – и вот вчера были мы в Пекине. Доктора даже заинтересовались болезнью. Сделали снимки, сказали, пошлют доктору в Харбин, с диагнозом. И вот я теперь решила: направлюсь заодно повидать и Володю в Шанхае. Но Галю не могу одну отправить в Харбин. А в Шанхай – два билета! Какой расход! Конечно, и Гале хочется повидать брата, но такая она слабая, – и едем-то мы всё самым дешевым тарифом, со всякими неудобствами. И опять же, если теперь, отсюда я не съезжу в Шанхай, то уж и не попаду никогда. А Володя один... Всё-таки слово матери, да сказанное вовремя, и удержало бы от многого.

Собеседница положила руку на колено гостыи и сказала участливо:

– А знаете, оставьте Галю у нас, а сами, с Богом, поезжайте в Шанхай. Галя отдохнет, я за ней присмотрю, да и Лида с ней будет. У нас одна эта комната, но все поместимся. А на обратном пути из Шанхая вы и возьмете Галю. И вам не надо бы ехать сегодня: переночуйте у нас, отдохните, а завтра с Богом и отправляйтесь в путь.

По мере ее слов лицо гостыи прояснялось всё больше и больше.

– Вот спасибо! – сказала она и улыбнулась жалкой улыбкой бедняка, который от бедняка же принимает помощь и знает – нечем ему отплатить, – Спасибо. Вот вы и успокоили меня. Вот я и спокойна.

– Мама! – у окна воскликнула Галя, – Лида может петь, знаешь, по-настоящему петь, артистически. Попроси ее, чтоб она нам спела.

– Боюсь, хорошо не выйдет, – застеснялась Лида. – Я всего лучше пою, когда смеркается, и я не вижу стен, и вещей... Я тогда то воображаю, о чем пою.

Но гостыи настойчиво просили.

– Лида, – сказала ей мать, – вспомним покойную бабушку.

Спой ее любимый романс.

И Лида встала, отошла от окна и, полузакрыв глаза, запела:

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегах Невы...

Она пела – и всё вокруг, всё в комнате, начало быстро, волшебным образом меняться. При первых звуках вздрогнула и, закружившись, растаяла бедность. Раздвинулись и уплыли убогие, темные стены. Пурпур неевского заката залил, осветил комнату на чердаке, – но она уже и не была комнатой. Две женщины стояли на берегу Невы и глядели вдаль. Две девушки следовали за ними.

... Тот светлый миг...

Каждая видела его по-своему. Матери видели прошлое, дочери вглядывались в будущее.

Матери видели – на том берегу – Петербург. А там, немного дальше, за поворотами улиц, неразрушимый в памяти, прекрасный, волшебный дом. Нет, он не мог исчезнуть... В памяти он всё так же стоит, населен теми же людьми. Они живут... Нет, не может прошлое так бесследно исчезнуть, так безвозвратно уйти! При этих звуках как живо оно, как осязаемо! Разве можно было бы видеть его так ясно, так совершенно отчетливо, если бы оно совершенно ушло? Оно не разрушилось, оно передвинулось в другой мир, – но его всё-таки, – на миг, – можно опять воскресить и увидеть.

... До гроба вы клялись любить поэта.

Вы, наши поэты! Это вы сохраняете летописи нашего сердца, нашей любви! Это вы не допускаете наше прошлое до полного исчезновения и смерти!

Лида пела. Она видела светло-голубой океан, за ним – сказочную зеленую землю, и там – тот, кого она любила. Не умея выразить любовь свою в словах, она легко передавала ее в звуках пения.

Галя слушала, и ей открывался всё тот же мир, который ей грезился с тех пор, как она стала болеть. Это была легкость – облака, и она, как бы забывая о чем-то, плыла медленно или летела. Исчезло время, терялись форма и вес, а она сама делается прозрачной и тает.

И для всех четырех красота жизни засветилась с песней, и с ней, рука об руку, грустная радость. Радость смыла все следы пережитых печалей и прежнего горя. А затем, воображение, улыбаясь, смеясь, начало свою работу – созидание иллюзий. И все показалась в ином виде, чем в будние грустные дни. Какой размах имеет жизнь! Какую магическую силу! Какую глубокую таинственную, хотя и мучительную прелесть! Конечно, жизнь тяжела, подчас ужасна, но разве можно сказать, что она не прекрасна – и как, всё-таки, хочется жить!

Глава третья

– Лида, уже три часа!

Галя повторила это дважды, но Лида не слыхала ее. Сидя у окна – книга на подоконнике – она читала и была далеко-далеко, совсем в другом мире.

...«Шарлотта встала. Она старалась высвободить свою руку, но я держал ее крепко: «Мы увидим друг друга! – воскликнул я, – и мы узнаем друг друга вопреки всем возможным переменам, и в этой жизни и в будущей. Я уйду, – сказал я. – Прощайте, Шарлотта!»

Лида дочитывала главу с глубоким волнением. Закончив, она оторвалась от книги и, закрыв глаза, вздохнула.

– Лида, уже три часа!

Отвернувшись от окна, только теперь она заметила стоявшую около нее Галю. Но Лида смотрела на нее издали, из той страны, где осталась Шарлотта, и где страдал молодой Вертер.

– Лида, три часа. Ты просила позвать, а то зачитаешься и опознаешь на урок.

– Сейчас, Галя, сейчас. Немножко только опомнюсь.

Она не могла сразу вернуться к реальной жизни: ее надо было восстанавливать деталь за деталью. Я не Шарлотта. То была книга. Я не жила так, я только читала. А это – мой дом, мои стены. Я тут живу. Три часа. Время идти на урок. Вечером я узнаю, что было с ними дальше.

Бледнела Шарлотта, а там – по тропинке – медленно удалялся молодой страдающий Вертер.

...– О не буди меня, дыхание весны! – запела Лида вслед уходящему Вертеру, но от волнения она не могла петь.

– Знаешь, Галя, как я хорошо понимаю теперь эту арию, – заговорила она, сильно волнуясь, – я понимаю слова, знаешь, – до глубины. И музыку, знаешь, до боли в сердце. Ты слушай, как я спою:

– О не буди меня, дыхание весны!

Ты слышишь? Слышишь – какая печаль!

– А ты не опоздаешь на урок?

Учительница Лиды, госпожа Мануйлова, обучала ее не только музыке и пению, но также иностранным языкам, литературе и истории. Они проходили эпоху романтизма: «буря и натиск», «голубой цветок». «Страдания молодого Вертера» открыли Лиде этот мир.

– Слушай, Галя, как написано: «Мы узнаем друг друга» – это о тех, кто любит, – например, Джим и я: мы узнаем друг друга всегда – и в этой жизни, и во всякой другой, сколько бы ни было жизней, во всяком перевоплощении, если они случаются с человеком, – всё равно, мы узнаем друг друга везде и всегда. Любовь побеждает судьбу.

– Но ты опоздаешь.

Чтобы совсем опомниться, Лида подошла к окну, открыла его и высунула голову – на холод, на ветер.

– О, как это прекрасно! – думала она. – Как это вечно! Мы всегда узнаем друг друга – во всех мирах, на всех планетах. – Она смотрела в окно, и перед нею были лишь высокие, под углом, крыши, верхушки голых деревьев, закоптелые трубы. Но, подняв взор, она видела небо. – «О небо, небо! О бесконечность! Как мир велик. Но мы всегда узнаем друг друга. Мы уже не можем потерять того, что найдено. Даже в вечности мы чем-то соединены». Так

думал Вертер о Шарлотте, но разве я сама и прежде не чувствовала этого сердцем? Великий океан – разве он разделяет нас? Нисколько!

– Лида!

– Иду. Теперь, правда, уже опомнилась и иду.

Возможно ли удалить от мыслей, вырвать из сердца тот образ, что, действительно, любишь, образ, сплетенный с единственной возможностью счастья? Что может заставить его потускнеть в нашем сердце? Пространство? Никогда. Страдания, разлука? Но они только приближают его, делают яснее, дороже... и вспоминаешь, и вспоминаешь. Воспоминания! все возвращаешься и возвращаешься к ним.

– Лида!

– Иду! Я побегу – и успею!

Она, правда, уже спускалась с лестницы.

– Возвращаешься к воспоминаниям... да, все возвращаешься и возвращаешься к ним... – думала Лида. – Как, в общем, жаждешь счастья! Это только я, или все люди? Каждую капельку счастья... не пропустить бы... Была эта капелька счастья, а потом живешь ее тенью, ее образом, потом лишь памятью об этой тени, потом тенью этой памяти... Как долго может длиться одна капелька счастья!..

На последней ступеньке сидела собака. Собака! У ней так и не было другого имени. Она так и оставалась просто Собакой. Она отказалась отзываться на то подозрительно странное имя Дон Жуан Тенорио, к которому мальчик Карлос, ее последний хозяин, старался ее приучить. Она догадывалась, что в этом неслыханном для собаки имени скрыта насмешка. Но вот и мальчик Карлос был давно отправлен в другой город, в школу, и Собака была опять одинока, предоставлена самой себе.

Собака сидела на последней ступеньке крыльца. Она сидела спокойно-спокойно. Ее поза и взгляд показывали, что она ушла в свои, неизвестные нам мысли. Бросив беглый взгляд, прохожий мог бы принять ее за «Мыслителя» Родэна, так как в этот момент между ею и им было больше сходства, чем различия.

– Собака! – позвала Лида. Она присела рядом на ступеньке, обняв неподвижную собаку за шею, и прошептала ей в ухо:

– Собака, мы как будто забыты... Мы не получили писем на этой неделе.

Собака сохраняла каменное спокойствие. Она не поддавалась этой ласке, этому летучему вниманию. Она знала – увы! – по горькому опыту, как непостоянны, как ненадежны человеческие чувства. Кто из людей мог быть так предан, как она, собака? Кто мог быть так верен? А чем платит человек? Они говорят с вами, когда нет писем. Когда они одиноки или несчастны из-за неверности чувств своих близких, тогда они кликнут символ верности – свою собаку – и вот так потреплют по шее. Но придет письмо, и они забывают, прежде всего, именно о собаке. Что такое собака для счастливых людей? Собака – игрушка, собака – обуза, собака – сторож, не больше. И Собака сделала движение освободиться от этих Лидиных объятий и ее шопота. Она отодвинулась вежливо, но решительно, и затем опять, как каменная, приняла прежнюю позу и застыла в ней.

– Собака, нас всё-таки любят? Как ты думаешь?

Собака отказывалась думать. Довольно! Больше никогда никакого отклика на человеческое чувство! Одинокое спокойствие духа – вот идеал философа. Созерцай – и молчи! Да будут презренны всякие сентиментальные узы! Разумная собака, разочаровавшись, не поверит больше в прочность человеческой дружбы. Холодная вежливость к человеку – не есть ли это единственное разумное состояние для домашнего животного? Вот сидеть так, на крыльце, ни на кого не глядя...

Ах, оставьте ваших собак в покое!

Но:

– Собачка, милая! – шептала Лида, – вот я сейчас уйду надолго, а ты сиди тут и жди почтальона. Не пропусти, тяни его во двор... всё может случиться: почтальон может быть задумчив, рассеян... Он еще пройдет мимо. А в сумке у него – для нас с тобою – письмо!

Собака подняла голову и подарила Лиду одним из редких собачьих взглядов – прямо, из глаз в глаза – взгляд полного и поразительного понимания. Она как бы сказала:

– Ты всё о себе... А я? Что сказать о тех, кто был *рожден собакой*? Чье понимание жизни глубоко, но кто не имеет средств выразить этого? Кто осужден навсегда *остаться* только собакой...

Лиде сделалось жутко под этим прямым и светящимся взглядом, как будто она тронула что-то горячее, болезненное и острое. В этом взгляде было больше животной глубины и концентрированного сознания себя, чем в человеческом. Ей стало почти страшно. Она быстро встала и ушла.

Для своей учительницы Лида являлась последней радостью жизни. В молодости г-жа Мануйлова была знаменитой певицей, пела в операх европейских столиц. То были годы блистающей славы, счастья, богатства, любви. Каждый день возносил ее выше и выше – все к большему счастью, все к большей славе, а потом всё это рухнуло, разбилось в осколки, развеялось в пыль, – как будто бы ничего прежнего в действительности совсем и не было, и она сама сочинила какую-то лживую сказку о своем прошлом. Она даже стеснялась рассказывать, когда ее спрашивали о ее прежней жизни, о том, о ней ли это писали книги, ее ли воспевали поэты, или же ее однофамилицу. После долгих лет одиночества, скитаний, страданий, и ей самой уже начинало казаться, что то была не она, а какая-то тезка ее и однофамилица. Она упала с большой высоты, и, как упавшие с высоты, не могла вполне опомниться, понять, где она, вспомнить, откуда упала. И то и другое, – и до и после – было, или казалось, невозможным, невероятным, одно с другим несовместимым. Реальным оставалось одно ощущение хрупкости вещей и жизни, удары молний по судьбам человека, темное и глубокое молчание в ответ на то, что нужно знать человеку.

Она не походила ни на один из своих прежних портретов. Красота – где она? Кто помнил ее красоту и стал бы искать в ее лице те прежние черты? Молодые поэты давно сошли в ранние могилы, не увидев, как это воспетое ими лицо увяло, покрылось морщинами и пожелтело.

Как стремились ее когда-то увидеть, хотя бы только на сцене, на миг, издалека. Теперь незамеченной ходила она по узким улицам города, по шумному китайскому базару, не производя ни на кого ни малейшего впечатления. Старая женщина в стоптанных башмаках.

Но может ли быть, чтобы всё в этом мире было лишь призрачным, появлялось на миг, исчезало бесследно? Нет. Иначе мир не держался бы целым, он распался бы, и ветер жизни развеял бы всё, до последней пылинки. Есть для духа связующие силы. Для нее этой силой было искусство. И она – в искусстве – была каким-то атомом красоты и бессмертия. Любовь к искусству давала форму ее жизни.

Поэтому ей дорога стала Лида. В Лиде таились великие возможности. Она могла стать первоклассной певицей. И г-жа Мануйлова спешила ее учить, «образовать», чтобы не ушла и эта певица на легкую дорогу дешевого успеха и ярмарочных эффектов. Она готовила Лиду для оперы.

Материально она не могла ей многим помочь. Ее средства были так малы, что она жила, рассчитывая – достанет ли денег до конца жизни, или же придется умереть от нищеты. Но учить Лиду ей было легко и радостно, и она весь свой последний огонь отдавала этим урокам. В Лиде она как бы не только продолжала свою, но и начинала новую артистическую жизнь.

Сегодня, закончив уроки, она сказала Лиде:

– Я хотела бы на днях повидать твою маму. У меня есть кое-какие планы для тебя. Их надо обсудить сначала с твоею мамой.

– Планы? Для меня?

– Да, для тебя. Тяньцзинь – мало музыкальный город. Даже на редкость. Хорошо бы тебе поехать на Рождество в Харбин, а весною в Шанхай. Ты могла бы послушать хороших певцов и певиц, да и сама попробовала бы выступить на сцене.

– Я? На сцене? Но я боюсь! Я испугаюсь.

– Сначала ты попробуешь выступить здесь – и не будешь бояться, тут нет настоящих ценителей пения. Я уже сделала шаги, чтобы устроить это. Сегодня я иду к миссис Браун, где будет обсуждаться вопрос о концерте, в котором ты и сможешь выступить.

– Надежда Петровна, это не может быть серьезно! Вы шутите! Как же я стану петь? Я ужасно буду бояться.

– Потому и надо начинать, привыкая и к страху, и к сцене.

И вдруг Лида вся засияла радостью.

– О, Надежда Петровна! О дорогая! Значит, вы серьезно думаете, что я могу уже начинать петь на сцене?! О, счастье! Я сейчас же должна написать об этом одно письмо... Чрезвычайно важное.

Весь остаток дня Лида была необыкновенно счастлива. Но, вернувшись домой, она не нашла никого, с кем бы поделиться счастьем. Ее мать была на дежурстве в госпитале, Галя ушла к вечерне. Никого из семьи Диаз также не было видно. Дом казался особенно пустым и молчаливым. Лида спустилась в подвальное помещение посмотреть, нет ли там кого, с кем бы поговорить. Повар семьи Диаз, старый китаец, чистил картофель к ужину.

– Повар, – сказала Лида, – ты слышал, как я пою!

– Сегодня – нет – сегодня я не слышал, как вы поете.

– Не сегодня, вообще... Как я умею петь. Как вы думаете, повар, хорошо я пою? Скажите чистую правду!

– Всякое пение, – медленно выговорил повар, – имеет свою точку зрения.

– Точку? Что такое вы говорите: точку зрения?

– Главную точку, – повторил повар с тонкой усмешкой и стал быстрее чистить картофель, как бы давая этим понять, что разговор о пении закончен.

Лида была разочарована. Она ушла из кухни и, стоя на пороге, смотрела в сад. Но сад в это время года едва ли выглядел садом. Конец октября. Всё мертво, всё голо. Всё лишено жизни, цвета и покрова. Кое-где еще виднелись кустики засохших стеблей и сорных трав, и ветер уныло раскачивал их, как мать укачивает больного ребенка.

Лида тихо пошла вдоль тропинки. Вот эта яма – летом тут был пруд. Летом в нем плавали милые рыбки. Кто-то весною высаживал лотос, и он расцветал, раскрывался розовым цветом посередине пруда. Но теперь зеленая тина покрывала дно, и от нее шел запах плесени. Было страшно, созерцая, понимать окончательную смерть того, что было так прекрасно весною. Лиде вдруг показалось, что она слышит где-то внутри себя мелодию – панихиду – и этого ветра, и сорных трав, и пустого пруда. У нее вдруг защемило сердце: ей, впервые, представился образ смерти, разрушающей безжалостно, бесповоротно. «Что ж, и я, как этот лотос?..» Но вдруг встало и засияло перед нею: «Мы узнаем друг друга»... и смерть показала лишь проходящим моментом, она была не для них, не для тех, кто любит.

Когда никого из семьи Диаз не было дома, Лида, по уговору, в эти часы играла на пианино в их гостиной.

Сегодня ей хотелось петь. Она села у пианино и, аккомпанируя себе, стала петь.

Лида не заметила, как за ее спиной тихо отворилась дверь, и Леон, старший сын графа Диаз, вошел в гостиную. Он остановился у двери и, полузакрыв глаза, слушал Лиду. Он был высок и статен, красив в благородном испанском стиле.

Когда Лида замолкла, он подошел ближе. Услышав шаги, она быстро обернулась. Увидев Леона, она воскликнула:

– Леон! Есть прекрасные новости!

– То есть письмо от Джима? – спросил он с легкой, необидной усмешкой.

– Нет, не то! – и Лида вдруг стала грустной. – Не такие уж счастливые новости, но всё же... Г-жа Мануйлова сказала, что я могу выступать на концертах. Правда! честное слово, она это сказала! Вы удивлены? Вы не верите?

– Я никогда не буду удивлен, если вам улыбнется счастье, – тихо ответил Леон. – Вы заслуживаете быть счастливой.

– Как вы это можете знать? Почему это я заслуживаю?

– Вы заслуживаете, потому что не думаете, что заслуживаете.

– Леон, вы всегда говорите со мною так торжественно, точно мы сидим на троне. Но сегодня – это ничего, потому что я счастлива. Все звучит мне музыкой сегодня – и этот дом, и этот день, и грустный сад за окном, и эта осень. Я как будто начинаю улавливать мелодию людей, вещей, моей жизни. Всё в мире звучит для меня, всё может быть выражено музыкой, особенно то, что не может быть выражено словами. Слушайте, – например, ваша мама, – слушайте, вот эта fuga из Баха; ваш отец – вот это из Бетховена, а моя мама, хотя ее музыка и глубоко скрыта, вот это – из «Патетической Симфонии» Чайковского. Я – сейчас – вот этот па-де-катр из «Лебединого озера»... – и, взволнованная, она замолчала.

– Вы забываете обо мне, – мягко сказал Леон.

– О, вы! Это совершенно ясно. Вы – из венгерских мелодий Брамса. Вот ваша фраза и ваша жизнь. А это – ваши скрытые чувства.

– Мои скрытые чувства? Так вы знаете, что у меня есть «скрытые» чувства? Вы их так хорошо поняли, что можете выразить в музыке?

– Я не знаю, почему я это сказала, – смутилась Лида, – Это как-то само сказалось. Но я всегда вижу именно вас перед собою, когда слышу венгерские танцы Листа и Брамса.

– Благодарю вас, – поклонился Леон. – Ну, а Джим в музыке?

– Я и Джим. Мы... Нет я сейчас сама сочиню для нас музыку. Мы начинаемся так...

Лида начала с аккордов. Под ее рукой уже начала было обрисовываться прелестная мелодия, но вдруг она взяла резко фальшивую ноту – и всё было испорчено. Она в смущении остановилась.

Леон наклонился к ней. Он поднял с клавишей ее руку и нежно и благодарно поцеловал тот пальчик, который взял фальшивую ноту.

Глава четвертая

Г-жа Платова вернулась из поездки в Шанхай. Она как будто стала меньше и еще бесцветней. В ней заметней выступило сходство с худой и жалкой загнанной лошастью, которую гонят и гонят, бьют и бьют, и она, разбитая на ноги, пробует бежать то рысью, то даже галопом, и дергается в стороны, стараясь уклониться от жестоких ударов, но пощады ей нет.

Хозяйке не нужно было ни слов, ни объяснений. Один взгляд на гостью – и ей стали ясны: и эта горькая забота, и эта постоянная, сверлящая сердце печаль о детях. Она настояла, чтобы г-жа Платова сначала отдохнула дня два или три, и затем только отправлялась в дорогу, в Харбин. Тесно, но когда в комнате помещаются трое, то уж непременно найдется место и для четверых.

И вот снова они расположились за чаем, заменявшим ужин. После первой чашки гостя собралась с силами, чтобы начать повествование о поездке. Рассказ не помогает, конечно, разрешать трудностей жизни, но хорошо рассказанное горе делается произведением изящного словесного искусства, возносится, так сказать, на пьедестал, и там теряет всю земную желчь и горечь, стоит, как модель – выражение идеи, не факта – и делается притягательно-красивым, заманчивым.

– С чем тяжелее всего мириться, – начала гостя, – это с безнадежностью, с шаткостью нашего существования. Ничего постоянного, не на что опереться. Нет твердой почвы под ногами. Не знаешь, как будешь жить завтра. Трудно воспитать в детях твердые принципы, помочь им найти путь и цели в жизни, создавать планы, когда на глазах все рушится, все рушится... Каждый день начинай всё сначала. Пробуешь одно, берешься за другое... Нет цельности, нет смысла в такой жизни, где все – случайность...

– И я мучилась этим, когда была помоложе, – сказала хозяйка.

– Но потом мне постепенно открылось, что у Бога для каждого из нас есть план и дорога – и нет случайностей. Я нашла, что в каждой жизни есть объединяющий ее смысл; она как дорога – ведет куда-то. Когда я поняла это, моя жизнь, конечно, не стала легче, но я сама стала спокойней.

– Да? – живо, как бы обрадовавшись, спросила гостя. – Расскажите же мне. Вы стали спокойней? Вы поняли, зачем и к чему всё в жизни нужно?

– В моей жизни я поняла. Что я была? Прежде всего – я была очень гордой. И не потому, что мы были богаты, что я была красива, что мне дали прекрасное образование, не потому, что наша семья имела высокое положение в обществе, – нет, цены всему этому я тогда еще и не понимала, я это принимала, как должное. Я была горда собою. Мне казалось, я духовно выше, благороднее, одареннее, чем все другие. Это ведь самый тяжелый грех, это – духовная гордость. Я – потомок гордых людей. Я брезгливо держалась в стороне от жизни, не сходилась с подругами, не была с ними открытой, откровенной. Что ж, жизнь учит: она безжалостна ко всему, что выходит из ряда вон, – вверх ли, или вниз, – к хорошему или плохому. Она учит, что, прежде всего, надо быть человеком, жить с людьми, делить человеческую участь. И кто ж, если не я, должен был упасть в самую гущу человеческой нужды, унижения, бедности, горя? Это был мне урок – урок гордецу – кланяться и унижаться, протягивать руку за помощью и не получать ее, плакать от голода, ютиться в грязном углу. Упала я с большой высоты. Вначале, конечно, не понимала – что и к чему.

Ведь, всё это человеческое горе существовало и раньше – так чего ж это я его сторонилась? Не ударь меня жизнь, так бы я и прожила, «не понимая» одного, презирая другое – в каком заблуждении относительно ложного моего превосходства! Стыдно вспомнить! Двадцать лет мне понадобилось, чтобы разобраться и понять. Благодарю Бога: гордость моя сломлена – во всех направлениях. И муж мой меня позабыл и оставил – а как разлучались!

В каких слезах, с какими обещаниями! И вот он прекрасно живет с другой; ни красоты не осталось, ни положения, ни денег. Вот приближается уже и старость – а мне легко, – как будто сбросила всю лишнюю ношу. И смерти не боюсь, не страшно. С тех пор, как умерла наша бабушка, в смерти для меня появилось что-то даже уютное, родное. Ложась спать, думаю: если ночью умру, то чего я еще не сделала? Остается так мало: письмо одно написать в Англию, Лиду благословить, да вот одежду мою отдать одной тут русской женщине...

– Но дети... у вас Лида.

– Я как-то спокойна за Лиду. Именно в ней нет гордости. Есть недостатки, конечно, но такие, за которые ей не придется тяжело расплачиваться. Жизнь в бедности ее научила...

– Слушаю вас, и легко делается мне на сердце. Ведь, и правда, раз жизнь наша в руках Божьих, то нет и случайностей...

– Да. Только размышлять нам всем надо бы побольше – что и к чему. Не летать стремглав по жизни.

– Это так. Но, с другой стороны, трудно быть только философом, когда в доме шестеро детей... и нет для них на земле места. У нас даже и паспортов для них нет. Что делать? Возвращаться в Россию? Попробовать отправить детей за границу, хотя бы одних только мальчиков?

– Мы отправили Диму, моего племянника, в Англию, – сказала мать Лиды, – Богатая англичанка усыновила его. Добрая, славная женщина. Но вот теперь и Англия находится под угрозой войны. И наш Дима, возможно, в Англии увидит те самые ужасы жизни, от которых мы его послали из Китая.

– В Англии всё-таки... едва ли.

– Да, мы отправили мальчика. Он был слабый: недоедал с самого рождения... Ах, какой это был славный мальчик! – вздохнула она.

Теперь г-жа Платова пыталась утешить свою собеседницу.

– Кто знает, будет война в Англии или не будет, а пока он путешествовал – морское путешествие много значит для ребенка, и для здоровья его и для развития. Чистый воздух, хорошее питание – на пароходе, если ехать первым или вторым классом, кормят превосходно! Подумайте, только очень богатые люди могут дать своим детям то, что имеет ваш мальчик. Одна эта поездка может дать ему столько здоровья, такой запас сил, что ему легче будет переносить то, что позднее он встретит в жизни...

И становилось светлее в комнате от ее каждого слова. Налили еще по чашечке чаю – и чай показался слаще.

– Да, главное – выиграть время. Каждый год, прожитый спокойно, так важен в жизни детей, заговорила опять г-жа Платова. – Каждый год, каждый месяц...

– Каждая неделя...

– Каждый день, каждый час...

И опять они обе вздохнули.

– Теперь расскажу о моем. Володе. Приехала я в Шанхай поздно вечером. Добралась до его квартиры: одна комнатка, конечно; пусто, бедно, но чистенько. Просмотрела его белье, одежду... пересчитала. Плохенькое всё, но в порядке, видно, сам починял. Вы знаете, как мальчики починяют. Поплакала, глядя на заплатки. Потом, чувствую, не могу больше ждать, хочу увидеть Володю поскорее. А всего одиннадцать часов, он же приходит домой не раньше трех утра.

– Так поздно?

– Да, ночной клуб. Вот я и пошла в этот клуб. А город этот Шанхай замечательно красив ночью. Огни везде, движение. И вечером все выглядит богато, интересно. А народу! И все не тот народ и не так одет, как видишь днем. В первый раз в жизни была я в ночном клубе. «Stop Неге» – называется. Как увидела я, что там делается, горько сжалось мое сердце. Думаю: Господи, неужели на земле нет другого места для моего ребенка?

Обе женщины вздохнули.

– Только вошла, вижу – идет большая ссора, готовится драка. Потом разобралась, в чем было дело. Американские «марины» кутили, а им, по долгу службы, к полночи надо быть на месте, в бараках. Но один напился и сидит, отказывается идти. Товарищи же тянут его с места. Все они, конечно, совершенно пьяны. И лакеи помогают тащить, а он, оказывается, силач, атлет, тяжелый-претяжелый, сдвинуть его не могут.

Лида и Галя, пившие чай на подоконнике, заинтересовались рассказом и подошли поближе – послушать.

– Страшно было смотреть. Сидит, уперся и руками и ногами, а лицо красное, глаза выпучены. Тут двое «маринов» схватили цветок – на столе стоял в большом горшке – они схватили цветок за стебель, а горшком бьют его по голове, – а остальные считать начали: раз, два...

Восклицания ужаса раздалось у девочек. Галя закрыла лицо руками и шептала: «Володя, Володя...»

– Горшок был глиняный, разбился. Земля летела комьями...

– Убили? – прошептала Лида.

– Нет. Он только встал, чихнул и сказал: «Берите другой горшок!»

Слушательницы облегченно вздохнули. Девочки засмеялись.

И г-жа Платова, улыбнувшись, сказала:

– Но я в тот вечер не смеялась. Я знала, что и мой сын где-то тут, в этой толпе. Произойдет убийство – и он может оказаться замешан. В испуге я кинулась вперед и закричала: «Where is my son?»¹ – А этот самый упрямый «марин» кинулся ко мне и кричит: «Here I am, Ma!»² – и он обнял меня и стал плакать, положив свою голову ко мне на плечи: «They beat me, Ma!»³ – сам захлебывается горькими слезами. Сначала я испугалась, а потом жалко мне стало «марина», я глажу его по голове и говорю: «успокойся... успокойся». И оба мы в земле от цветка, грязные, грязные. Я стала чихать. Все кругом смеются.

Девочки стояли, обнявшись, и громко смеялись:

– Но дальше, что дальше?

– Тут меня увидел Володя. Он был на каком-то возвышении, с оркестром. Он знал, что я приеду, ждал меня – а тут узнал по голосу. Он спрыгнул с возвышения и кинулся ко мне: «Мама!» – А «марин», меня не выпуская, сжал кулак и на него: «What?» – заорал: «She is my mother! Get out!»⁴.

Тут все четверо засмеялись громко и звонко.

– А я испугалась за Володю, – продолжала г-жа Платова. – «Уйди!» кричу, – «уйди!» – Володя бледный, тоненький, слабый, – а этот силач наступает, меня же обнял одной рукой, боюсь, задушит. Володя видит это – хочет меня выволить. Я Володе кричу: «Не подходи, Володя! Не подходи!»

И она вдруг задохнулась и заплакала. Настроение в комнате сразу переменялось. Галя подошла к матери и нежно ее обняла.

– Но всё хорошо кончилось, мама! Ты с самого начала сказала, что Володя здоров – и всё было хорошо. Успокойся, мама дорогая, успокойся!

– Ну, уж кончу рассказ, – решила г-жа Платова, отдышавшись. – Попросили меня «марины» помочь им увести товарища, а то будет ему тяжелое наказание. И мы пошли. Я его вела, как ребенка, за руку. И Володя отпросился у хозяина и пошел за нами, обо мне

¹ «Где мой сын?»

² «Я здесь, мама!»

³ «Они меня били, мама!»

⁴ «Что? – Она моя мама! Убирайся вон!»

беспокоился. И вот иду я в толпе пьяных матросов, веду за руку этого атлета, а он рыдает: «How very nice»⁵, лепечет: «I am again home»⁶. Товарищи же его идут вокруг и поют песню. Все шествуем по середине улицы. Прохожие останавливаются, пальцем показывают на меня, отпускают шутки. На счастье, на свежем воздухе все они немного пришли в себя. И мой «сынок» понял, что скоро полночь, торопиться надо в бараки. Он отпустил мою руку. Почихал немного и говорит: «Thank you, Ma!» и подарил мне американский серебряный доллар.

– Американский? – воскликнула Лида. – Он у вас есть?

Г-жа Платова порылась в сумке и вынула доллар. Это был первый американский серебряный доллар, который все они видели. Большой, тяжелый – настоящие деньги!

– Знаешь, мама, – сказала Галя, – а он был славный человек, этот матрос. Ничего, что пьяный, он славный.

– А что вы сделаете с этим долларом? – спросила Лида и тут же покраснела, так как мать быстро взглянула на нее, и Лида поняла, что такой вопрос – дурная манера. Но г-жа Платова тут же ответила:

– Истрачу на рождественские подарки для детей. Как ни бедно, но мы всегда устраиваем елку, хоть веточку, хоть без свечей. В этом году она, как видно, будет с подарками. За один американский доллар дают восемь харбинских. Нас в семье – восемь человек. Доллар на человека – на это можно сделать хорошие подарки!

– Вот непредвиденный случай! – удивлялась Лида.

Г-жа Платова вернулась к основной теме:

– Рассталась я с Володей. Пока что он еще хороший, неиспорченный мальчик. Но после всего, что я там видела, не будет мое сердце покойно. Молодой мальчик, да и красивый... И какой милый сын: сам живет бедно-бедно, а нам посылает – и так аккуратно, напоминать не надо. И вот я ему говорю: «Не вернуться ли тебе к нам, домой?» У него и глаза засияли – еще ребенок! – но потом он решил: «Надо быть практичными: кто же бросает работу в наше время!» И я должна была согласиться, иначе как же оплачивать квартиру, – И она вытерла набежавшие слезы кончиком носового платка.

Пора было устраиваться на ночь. Они все должны были лечь в одно время, так как места для хождений по комнате не оставалось. Лучшая постель – софа – была предоставлена госте. Вещи передвинули, образовалась как бы перегородка: по одну сторону – комната взрослых, по другую – на полу – рядышком расположились девочки.

Сильный ветер поднялся к ночи. Он шел с большой силой откуда-то издалека, вероятно, из пустыни Гоби. Он нес с собою гигантские песчаные тучи, разметая их края по дороге, ударяя песком по стенам, крышам, деревьям. Острая пыль пустыни проникала во все щели и, как жесткая вуаль, опускалась на все. У нее был какой-то чуждый, едва уловимый запах. Пыль выветрившихся скал, разрытых гробниц, истлевших скелетов, под землю ушедших городов – она, несомненно, имела запах давней смерти. Ветер был полон звуков. Он порывался рассказать какую-то мучительную повесть, сообщить таинственную весть – и издавал тысячи звуков: он бормотал таинственные, непонятные слова, издавал жалобные вздохи, всплески отчаянных криков и жалоб, вой ужаса и боли – и затем опять впадал в таинственный шопот и, заунывно подвывая, оплакивал кого-то. Ему начали вторить полуоторванные куски железа на крышах, разорванные провода, полуотодранные доски в заборах – всё это хлопало, крутилось, жаловалось, негодовало на судьбу. Казалось, чердачная комната, оторвавшись от дома, повисла в воздухе, качаясь на облаках пыли, в волнах ветра, и вот-вот унесется с ним, неизвестно куда.

⁵ «Как это хорошо».

⁶ «Я снова дома».

Наконец, как бы закончив приготовления к концерту и пробу своих инструментов, ветер разразился могучей и стройной симфонией отчаяния и власти. Как было спать в такую ночь?

– Боже, какая в этом музыка! – шептала Лида. – Знаешь, он поет, как Борис Годунов: «Достиг я высшей власти»... Слышишь?

– Как бы я боялась, если бы была одна, – шептала Галя.

– Мне кажется, что ветер вьется вокруг, ищет, где дверь. А потом ворвется сюда – и конец нам!

Ветер утихал, но он разогнал сон.

Как бы в унисон ему, в комнате началось то, что Лида называла «вечерние шопоты», когда говорятся самые искренние слова и делаются самые глубокие признания.

Шептались девочки не о любви – нет – о жизненной горе, о бедности.

– Мы такие бедные, такие бедные, – шептала Галя.

Лида, тесно обняв ее, шептала:

– Мы тоже бедные – бедные... самые бедные.

– И маленькие братья все просят кушать, а мне жалко маму...

– Наш Дима, когда жил дома, тоже все просил кушать... У нас были разные квартиранты... бабушка у нас была чудесная, ангел... ее все любили... ей дадут что-нибудь, а она спрячет для Димы, держит, пока он станет совсем голодный, и даст ему, а он так, бывало, обрадуется...

– А нам не дают. И, знаешь, напротив – кондитерская, в окне всё свежие булочки, и братья всё стоят там и стоят... смотрят на булочки, а я всё боюсь, всё боюсь...

– Чего?

– Ты знаешь про Жан-Вальжана, у Гюго?

– Знаю.

– Вот я *этого* страшно боюсь. Вдруг не вытерпят. Они – маленькие.

– Ах, Боже мой! – воскликнула Лида. – Не думай, не думай! Им не будет такой судьбы!

Поверь мне – не будет!

Сон медлил переступить порог этой комнаты и убаюкать, успокоить их. Но ветер стихал. Он переменял и темп и мелодию и уже не ревел, а перебирал какие-то заунывные струны, как бы подбирая получше мотив. Только к утру все заснули, отдыхая, чтобы встретить новый день. А он – уже готовый – вставал на востоке, определенный, как судьба.

Глава пятая

Лида открыла окно и, перегнувшись, смотрела во двор. Там, внизу хлопнула калитка. В этот час она всегда была настороже, чтобы услышать и не пропустить этого звука: чем бы она ни была занята, о чем бы ни думала, она ожидала почтальона. От десяти и до одиннадцати каждый миг мог принести ей эту радость, совершить чудо. Но и на этот раз она обманулась: почтальона не было, это Леон возвращался домой. Он поднял голову на звук открывающегося окна – и вверху их взгляды встретились. В маленьком чердачном окне Лида казалась ненастоящей, видением. Ее глаза сияли ему лишь мгновение. Узнав его, они потемнели от разочарования. Нет, это не был хромой, всегда улыбающийся, оборванный китайский почтальон. Лида не кинется стремглав, вниз по лестнице, с криком радости встречать его.

Даже если смотреть сверху, из маленького окошка чердака – и оттуда Леон показался бы безусловно красивым. Его невозможно было бы не отличить от всякого другого, входящего во двор. Могла же она, узнав его, сказать хоть два слова, улыбнуться. Но он, очевидно, не существовал для Лиды. Занятая своими мыслями, нахлынувшим разочарованием, она не поздоровалась с ним, не кивнула головой, не послала никакого приветствия. Он не был почтальоном, и этого было достаточно, чтоб его существование уже больше не интересовало ее в эту минуту. Она исчезла, окно на чердаке захлопнулось.

Этот звук словно ударил Леона. Он вдруг остановился и несколько мгновений стоял неподвижно, глядя вверх, на закрывшееся маленькое окно чердака. С присущей ему сдержанностью он больше ничем не выказал своих чувств. Но эта мгновенная остановка, эта мертвенная неподвижность – хоть и на несколько мгновений – посреди двора, эти вдруг потерявшие блеск глаза, такие же чуждые всему, как то окно, те тусклые стекла – обнаружили, как глубоко он был ранен.

А Лида страдала у себя наверху: уже две недели, как не было писем от Джима.

Есть жгучие человеческие чувства, знакомые многим, но не поддающиеся описанию. Одно из них – ожидание писем издалека. Лида считала дни не от утра до вечера, а от почты до почты. Вечность отделяла ее от прихода почтальона завтра. Она стояла посреди комнаты, крепко сжав руки: письма не было. А как хотелось, Боже, как хотелось получить его именно сегодня, в день, когда она – впервые в жизни – выступала на концерте.

Ее платье – прекрасное, пышное, белое, только что разглаженное, – сияло на софе. Казалось, оно испускало лучи нежного света в комнате с расщепленным деревянным потолком и темными голыми стенами.

Чтобы не дать воли грусти, Лида старалась сосредоточить мысли на радостном, она смотрела и любовалась платьем.

– Мое белое платье, мое единственное прекрасное платье...

Воспоминания нахлынули на нее. Бабушка выбирала его: «Возьми белое, может быть, ты и венчаться в нем будешь». Где теперь бабушка? Миссис Париш платила за платье. В каком восторге был Дима! Он все показывал платье Собаке, чтоб и она любовалась. Петя тогда ничего не сказал, но я видела, как он был рад, что у меня нарядное платье, и я, по-настоящему, иду на вечер. Профессор был восхищен, поцеловал мне руку. А мистер Сун так странно сказал: «Те ласточки – из Африки»... Потом пришел Джим... Боже мой! все они были со мною! Боже мой, я стояла среди них – и они все радовались за меня! Боже, как я была тогда счастлива! Знала ли я это тогда? Нет, только теперь, когда они все ушли, все ушли по разным дорогам – в могилы, в чужие края, неизвестно куда – теперь только я вот стою тут одна! и понимаю, как я тогда была счастлива! Все ушли от меня и мамы – а платье осталось, то самое платье. Я надену его сегодня – а их нет. Там, где они, им все равно...»

Из-за софы появилась Собака. Собака подняла голову и внимательно и мрачно смотрела на Лиду. Собаки смотрят снизу вверх под другим углом, нежели человек, и для них вещи выглядят иначе, в других очертаниях. Эта собака, казалось, никогда не восхищалась тем, что видела. Она потянула носом и фыркнула: Лида издавала запах мыла. Дешевого мыла. Собака не в состоянии была долго переносить близость Лиды, она попробовала вежливо уйти прочь. Но Лида не понимала этого.

– Собака... – сказала она, – милая Собака! мы выступаем сегодня на концерте, перед публикой. Я волнуюсь. Скажи мне что-нибудь ласковое! Утешь!

Собака пошевелила челюстью, не издав звука.

– Ты не скажешь мне даже слова? Посмотри ласково и скажи:! «Лида, не волнуйся!» Скажи!

Это было глупо. Собака повернулась, чтобы совсем уйти.

– Ты помнишь Диму?

Собака остановилась на пороге, низко опустив голову.

– Какой был славный мальчик! Как мы любили его! Можно ли привыкнуть к тому, что его с нами нет? Привыкнем ли мы?

Ненужные, глупые слова! Собака посмотрела на Лиду еще раз – уже с презрением и ушла.

И снова Лида была одна, и снова она искала, на чем остановить свою мысль. И опять она смотрела на прекрасное белое платье.

– Почему это так устроено в мире, – думала она, – что глубочайшие чувства умирают, проходят бесследно, а бездушные вещи, чем-то соединенные с ними – переживают их и остаются. Вымирают народы, но остаются монетки, какие-то черепки, какие-то развалины... Что дает выносливость простым и часто ничтожным вещам? Почему должен погибнуть герой, и имя его должно забыться, а обломок его копья переживает его на тысячи лет? Почему человек не может понять этого секрета неодушевленного мира и научиться от него? Для вещей жизнь – в настоящем. А для человека? Едва мелькнет мысль или шевельнется чувство – и вот оно уже в прошлом, нет его, ушло навеки. А неодушевленные вещи – самые спокойные, самые счастливые, обладают самой долгой жизнью...

Готовая к концерту Лида спустилась в нижний этаж, чтобы показаться, как обещала, графине Диаз и посмотреть на себя в их большое зеркало. С момента, как она надела свое прекрасное платье, и настроение ее переменялось: она вошла легкой, воздушной поступью, сияя улыбкой.

Семья Диаз была довольно странная. Зная каждый по несколько языков, все они были очень неразговорчивы, и в их доме царил молчание. Было ли это следствием тех тяжелых испытаний, которым подверглась Испания, или же – их жизни в чуждом для них Китае, неизвестно. Они никогда ни с кем не говорили ни о себе, ни на какие-либо политические темы, предоставляя в этом полную противоположность русским эмигрантам. Молчаливые, спокойные, с благородством и грацией во всех движениях, они казались подобранными йарочно, как персонажи в картинах великих художников, для выражения какой-то идеи. Это впечатление прекрасной, но неживой картины получал всякий, кому случалось войти в их совершенно беззвучную комнату, где сидело пять человек. Они часто даже гостя приветствовали не словом, а поклоном и улыбкой. Казалось, в жизни их не было событий, и время для них давно перестало существовать. Казалось, в их жизни невозможны были потрясения: они стояли выше судьбы.

Увидев Лиду, они улыбнулись.

– Готовы для концерта, – сказала графиня. – Кто провожает вас?

– Меня? Никто не провожает. Я иду одна.

– Идете? Пешком?

Лида смутилась:

– Я могу взять рикшу. Мама дала мне десять центов.

Все Диаз взглянули на Лиду. Молоденькая девушка, одна едущая на свой первый концерт, на рикше, в этом длинном белом платье – патетическое зрелище.

Старый граф поднялся:

– Я провожу вас, Лида. – Затем он обернулся к жене: – Я буду на концерте, а вы пришлите Леона меня сменить. Он вернется к девяти часам.

– Но я могу одна... – застеснялась Лида. – Это ничего.

– Нет, Лида, это не принято. – И графиня вышла вместе с мужем помочь ему переодеться.

Когда граф вышел в вечернем костюме, он выглядел таким благородным, таким аристократом, что Лида пришла в восхищение.

– Ах, какой вы красивый!.. – воскликнула она и смутилась. Все Диаз улыбнулись. Лида же заволновалась: ей хотелось скорее-скорее на концерт.

Они ехали в автомобиле, и, взволнованная еще и этим великолепием, Лида рассказывала графу, что едет в автомобиле в третий раз в жизни: однажды она ехала с Джимом, а потом как-то раз на кладбище, на могилу бабушки, и за такси тогда платила миссис Париш. Граф вежливо, хотя и односложно, поддерживал этот разговор. Закончив введение, Лида всю остальную дорогу на разные лады благодарила графа за доставляемое ей удовольствие. Наконец, граф мягко ее остановил:

– Перед тем как петь на концерте, не надо много говорить. Вы утомляете горло.

Когда Лида вошла в зал, ее встретили холодные, почти враждебные взгляды. Кто это? Ее не знали в том кругу, для кого давался концерт. Это был «Клуб интернациональной дружбы для дам», где президентом была всё та же миссис Браун. Среди членов клуба не было русских, т. к. членский взнос в «Интернациональную дружбу» был очень высок, а у русских в Тяньцзине не было денег. Дамы не знали, что Лида выступает на концерте, и ее появление в публике в вечернем туалете показалось чуть ли не дерзостью. Кое-где поднялся насмешливый шопот, и сердце Лиды начало стынуть под вопросительными взглядами дам-распорядительниц «Интернациональной дружбы». Но как только вошел задержавшийся в прихожей граф, и ясно стало, что он – с Лидой, мгновенно всё переменялось: улыбки засияли Лиде. Все знали, что у графа есть дочери, и приняли Лиду за одну из них. «Как очаровательна! Какая прелесть!» Лида поняла, каково было бы ей одной сидеть в этом зале, ожидая второго отделения концерта, где она должна была петь. И горячей благодарностью засиял ее взор, обращенный на старого графа.

«У меня мог бы быть папа, похожий на него», вдруг подумала Лида, в первый раз в жизни – с горечью. Мать заменяла ей всё, но сегодня она почувствовала, какое счастье было бы иметь и отца. Ей хотелось быть достойной своего спутника, графа. Она сидела спокойно и прямо, стараясь вспомнить наставления покойной бабушки о том, как подобает вести себя молодой девушке в незнакомом обществе. Милая бабушка всегда придавала большое значение манерам, говоря, что они украшают общественную жизнь.

Концерт начался.

Первый номер программы был более живописен, нежели музыкален. Красивая дама играла на арфе. Картина была окрашена в два цвета: цвет красной герани – ковер, платье дамы, ее туфли, губы и ногти, и золотой – арфа, волосы, шея и руки. Музыка была только рамкой, в которой показывала себя публике эта дама. Но внешний замысел был эффектен, арфой и дамой залюбовались, о музыке забыли, даме аплодировали. Вторым номером было хоровое пение. Шесть старых джентльменов и шесть старых дам пели шотландские песни. Никто из них не имел ни голоса, ни слуха. Они даже пели каждый по себе, не в такт, хотя восьмидесятилетний на вид старик, суровый, сухой и высокий, дирижировал вдохновенно,

топая ногой, размахивая кулаком и странно двигая бровями. Для тех, кто родился в Шотландии, это была музыка, голос родины, самый милый и самый понятный сердцу из всех голосов. Хору аплодировали, вызывали на бис. Шесть леди и шесть джентльменов вставали и церемонно, с достоинством кланялись. Они представляли собой патетическое и, вместе с тем, чем-то величественное зрелище. Эти люди покинули родину – и кто из них увидит ее опять? Но ни годы на чужбине, ни путешествия, ни чужие языки, обычаи, страны, ни перемены в личной судьбе и жизни, ни чужие песни – ничто не заглушило любви, не порвало нити – тонкой и нежной – соединявшей их с тем маленьким клочком земли, что называют Шотландией. Старые, уже приближаясь к могиле, они пели все те же песни, что их матери пели у их колыбелей.

Нешотландская часть аудитории тоже горячо аплодировала, но уже по другим мотивам. Поющие были – слева направо: банкир, генерал, дипломат, адвокат, владелец заводов, доктор, а дамы – их жены.

Госпожа Мануйлова сделала знак Лиде, и они ушли за кулисы. Приближался момент выступления Лиды.

С каким бьющимся сердцем прошла она через сцену и остановилась около своей учительницы, которая села за пианино, чтобы аккомпанировать.

Вопреки обычаю, аплодисменты не встретили Лиду. В зале уже знали, что это просто какая-то русская девочка, а граф Диаз живет в одном доме и с нею пришел случайно. Так как артистам ничего, конечно, не платили за выступления, то это подчеркнутое невнимание к Лиде больно задело г-жу Мануйлову. Но Лида и не заметила ничего, аплодисментов она и не ожидала... Она стояла, дрожа с ног до головы, в своем белом платье и, казалось, она вот-вот упадет и растает – случайная снежинка, явившаяся в мае. Вдруг она увидела Леона.

Он вошел в зал и, быстро пройдя между рядами, занял свое место почти перед сценой. Он смотрел на Лиду. Он никогда не видел ее не только в вечернем платье, но вообще сколько-нибудь хорошо одетой.

И вот она стояла перед ним, высоко, на сцене, выше всех остальных, кто был в зале, – такая юная, белая, смущенная, скромная, – такая красивая. Он смотрел, и глаза его были светлы, сияли горячим восхищением. Они одни ободрили Лиду.

– А ну-ка, Лида, покажем, как мы умеем петь, – сказала ей г-жа Мануйлова спокойно и громко – и вдруг Лида перестала дрожать. Г-жа Мануйлова взяла несколько сильных аккордов – и всё изменилось. Мир стал иным. Теплая волна радости смыла все другие чувства – Лида начала петь. Она пела с наслаждением, с восторгом. Душа ее раскрывалась в какой-то безграничной, бескрайней радости. Всё вокруг медленно окутывалось полупрозрачным туманом, раскачивалось, отодвигалось, таяло. Лида сама – с одной из своих высоких нот – тоже покинула землю. Она поднялась и уплывала медленно-медленно, не касаясь ни пола, ни стен. Слеза катилась по ее щеке. «Что это? Что это?» – какой-то голос спрашивал в ней. – «Я пою», – отвечало ее сердце.

Есть прекрасное в мире, что дает нам одну только чистую радость. Есть прекрасное, что заставляет страдать. Второе – дороже: только оно незабываемо. Таким было пение Лиды для Леона. Ему казалось, что и он поет также, поет с нею, что они поют вместе, но что Лида со своею песней уходит вдаль, уйдет и не вернется.

Она кончила петь, и гром аплодисментов, необычайный для такой, в общем, равнодушной к искусству, аудитории, потряс зал. Но в первый момент этот энтузиазм публики был ненужен Лиде, как-то даже неуместен. Лишь г-жа Мануйлова понимала всё его значение. Лида начала *существовать* в искусстве. Аудитория признала ее. Такие аплодисменты значили больше, чем только удовольствие, Тяньцзинь принял ее как певицу. Ее бедность, факт, что она русская, что у ней нет никакого положения в обществе – всё это было ей прощено. Отныне ее будут узнавать везде, где она появится, будут помнить ее имя, будут говорить о

ней. Город как бы распахнул перед ней свою дверь. И вот – как бы из этой распахнувшейся двери – по направлению к Лиде шествовала сама госпожа Браун, жена президента главного в городе английского банка.

У Лиды захватило дыхание: «Боже мой», – ей вспомнилась сцена на благотворительном базаре, поднятая рука и «Пошла вон!»

– Но она меня не узнает, – быстро мелькнуло в голове Лиды, – В этом-то платье!..

Но не из-за платья она осталась неузнанной этой могущественной дамой. Вглядывалась разве миссис Браун в людей на благотворительных базарах, или в тех, кому она раздавала хлеб, кого спасала во время наводнений? Для нее все бедняки были так же одинаковы, как мухи летом. Лида опасалась напрасно.

Миссис Браун – в тяжелом шелковом лиловом платье – напоминала тучу в июле, полную грома и молний, но также и благотворного дождя. Подойдя к Лиде, увидя это лицо – приподнятое к ней – прелестное, юное, на котором дрожала полуиспуганная, неуверенная улыбка, лицо с еще не высохшей слезой на щеке, со вздрагивающими губами – миссис Браун вдруг сделала совершенно неожиданное, совершенно несвойственное для ее духовной природы движение: «Ангел!» – сказала она и, нагнувшись, нежно поцеловала ту Лидину щеку, где была слеза.

Присутствовавшие не верили глазам. Они знали миссис Браун долгие годы, но целующей ее не видел никто и никогда. Но это было не всё. Миссис Браун отстегнула от своей груди прекрасную китайскую брошку, которой были приколоты к ее платью три орхидеи, и цветы и брошку она отдала Лиде.

Глава шестая

Леон ждал ее у выхода. Прижимая цветы миссис Браун к груди, Лида – в четвертый раз в своей жизни – ехала в автомобиле. Леон отвозил ее домой.

– Знаете, что? – задумчиво говорила Лида. – Бывало, вот так вечером, увижу автомобиль, роскошный, сияющий, освещенный внутри, как наш теперь, и в нем едут двое, как вы и я теперь, и цветы, вот как я держу сейчас, – и я думаю: кто эти люди? Как они, должно быть, счастливы! Не просто счастливы, нет, счастливы каким-то необыкновенным, изысканным счастьем. Знаете, когда идешь одна, и темно, и холодно, и ветер, а улица мокрая, грязная, и поскользывается, дрожишь и торопишься, – и вдруг увидишь, как они промчатся мимо, в сиянии, – то такое счастье кажется совершенно недоступным, недосыгаемым. И вот сегодня это я так еду с вами – а испытываю я только большую грусть.

– Не было писем на этой неделе? – спросил Леон с легкой и ласковой насмешкой, с какой говорят ребенку о его детских обидах.

Лида не заметила насмешки:

– Почти две недели, – она ответила тихо и, с присущей ей грацией, отвернулась от Леона, чтобы скрыть выражение своих глаз и лица.

Они ехали молча. Она не смотрела на Леона, стараясь вообразить и поверить, что там, рядом с ней, сидит не Леон, а Джим. Леон же, глядя на нее и запоминая каждое ее движение, старался вообразить и, хотя бы на минуту поверить, что она любит его и будет его невестой. Сидя рядом, так близко, они в мыслях всё удалялись один от другого, каждый уносясь за своим миражем – и расстояние между ними росло. Она неслась в Калифорнию, он – в Европу с женой, с Лидой, которая любит его.

Автомобиль приближался к дому. Ища предлога побыть с Лидой подольше, Леон сказал:

– Я думаю, вашей матери было бы приятно узнать о концерте. Поедьте в госпиталь, и вы расскажете ей.

– Но такси будет стоить ужасно дорого.

– Лида! – сказал Леон, взяв ту ее руку, в которой были цветы: – Перед вами разбогатевший молодой человек. Хотите доказательств или же верите на слово?

– О, Леон! – воскликнула Лида, полная радости. – Правда? Так вы получили наследство, о котором говорили ваши родители? Горжусь быть с вами: вы первый богатый молодой человек, с которым я знакома. Решено – платите за такси, едем к маме в госпиталь!

– Я могу сделать больше, чем уплатить за это такси. Я могу жениться, поселиться, где угодно, и окружить мою жену дольствием, даже роскошью.

– О, Боже! Как бы я хотела быть вашей женой, если бы вы только превратились в Джима!

И она весело засмеялась. Леон, помолчав, засмеялся за нею.

В госпитале, услышав новости, мать нежно поцеловала Лиду: «Моя певица! Поезжай домой и отдыхай».

Но Леон не мог решиться отпустить Лиду. Он пригласил ее ужинать в самый лучший ресторан города, и Лида, никогда не бывавшая в ресторане, запрыгала от радости.

– Мама, можно? Я видела один ресторан в кино, там так интересно! И я, правда, очень голодна.

Второй довод для матери Оыл сильнее первого, и она разрешила.

Уже готовая уйти, Лида почему-то обернулась на пороге – и вдруг увидела эту больницу приемную в каком-то новом свете, в каком-то внезапно ей открывшемся новом значении. Здесь, за этими стенами страшно страдали и умирали люди – в тот самый момент,

когда она – в воздушном платье, с цветами в руках собиралась ехать в роскошный ресторан ужинать. Она как бы видела всё издали, со стороны: бедная, голая комната в бесплатной больнице для бедных – их отсылали сюда умирать – ее мать в жалкой форменной одежде сиделки, из экономии очень короткой, почти до колен. Леон – красивый и элегантный, теперь богатый молодой человек... И мысль о дисгармонии, о несовместимых явлениях жизни, о хаотичности мира – вдруг поразила ее. На миг ей стало страшно. «Как все это держится вместе – и называется дом, город, мир, человечество»?

Мать заметила, что Лида переменялась в лице.

– Что с тобою? – она схватила ее за руку.

– Лида устала после концерта, – сказал Леон. – Ей надо скорее на воздух и затем хорошо поужинать.

Странное тяжелое чувство не покидало Лиду. Ей, не привыкшей к счастью, казалось, что сегодня, переходя от радости к радости, она как-то отдалялась от привычного и родного ей мира молчаливых страданий, чем-то изменяла ему. Но свежий вечер ноября подбодрил ее, она сделала над собой усилие: уж пусть и закончится этот день в роскоши. Ресторан, действительно, поразила ее богатством и блеском. Она даже заговорила шопотом:

– А вы уверены, – спросила она Леона, – что у вас достаточно с собою денег? Вы, правда, получили наследство? Если нет, лучше пойдете домой.

Они сели за маленький столик, уютно, под большой пальмой. Лида потрогала пальму рукой: это была, против ее ожидания, искусственная пальма, сухая и неприятная при прикосновении. Это была первая пальма, которую видела Лида, и она не оправдала того поэтического чувства северян, с которым они относятся к Югу.

... В песчаных степях Аравийской земли...

– Всё не так, всё не так, – думала Лида. – Как много в жизни скрыто от глаз, как много построено на обмане, на иллюзии, на воображении! Как мир распадается при первом к нему прикосновении! Что же такое жизнь?

Но она была очень голодна. И голод, взяв верх над другими мыслями, заставил ее спросить вслух:

– Что же они дают на ужин в таком роскошном ресторане?

Вдруг она почувствовала, что Леон пристально и как-то особенно смотрит на нее.

– Я сказала что-нибудь смешное? Глупое? – спросила она, смущаясь.

– Нет.

– Так вы сидите и ожидаете, что я скажу глупость? Да? Почему вы так смотрите?

– Потому что вы необыкновенно очаровательны. Больше – вы красивы, вы прекрасны. Еще больше – вы неповторимы, вы единственная, Я люблю вас.

– Ну, вот еще! – рассердившись, воскликнула Лида. – Зачем вы это сказали? Вы мне портите ужин!

Она сразу почувствовала грубость и неуместность своих слов и покраснела до слез:

– Какая я неблагодарная! Вы простите меня, Леон. Но знаете, я очень серьезно смотрю на любовь с тех пор, как я обручилась с Джимом. Я смотрю теперь как бы по «Страданиям молодого Вертера». К тому же это ведь шутка, что вы сейчас сказали. Разве можно говорить о любви под этой сухою искусственной пальмой? И вы приглашаете меня ужинать и перед самым ужином начинаете говорить о любви... – она опять смутилась и покраснела, видя, как неловко выразила и свою мысль и свое чувство. Но Леон понял более того, что она сама понимала и что хотела сказать, – и вдруг тоже покраснел.

– Это была шутка, – сказал он. – Я думаю, всё произошло оттого, что около нас искусственная пальма. – Но он всё же решил выяснить положение до конца и прибавил в полушутливом тоне: – Может быть, мы просто предоставим всё это высшим инстанциям: моя мама придет к вашей маме и предложит мою руку, имя и сердце вам...

Что вы! Что вы! – в испуге вскричала Лида. – Моя мама, конечно предпочтет вас Джиму. К тому же она любит вашу маму, а маму Джима она и в глаза не видала... И еще, вы даете нам бесплатно комнату... О, Леон, пожалуйста, пожалуйста, не посылайте вашу маму к моей! Иначе, что будет со мною...

Леон сделал последнее усилие:

– Отвергнут! – сказал он, смеясь.

Перед ними стоял лакей с меню.

– Что заказать для вас? – спросил Леон.

– Я съем всё, что дадут, что у них готово, только бы скорее, я очень-очень голодна.

Глядя на то, как ела Лида, Леон испытывал глубокую жалость. За годы скитаний и он узнал, что такое голод. Эта дрожащая ложка в дрожащей руке, это старание есть медленно, не торопиться, не показать... Вдруг он увидел, как слеза скатилась с Лидиной щеки и упала в суп.

– Ах! – сказала Лида, подняв лицо от тарелки. Она была смущена, но глаза ее сияли. – Вы знаете, Леон, когда я проголодаюсь и вдруг увижу вкусную пищу...

– Текут слюнки, – поспешил перебить Леон, не желая показать, что видел слезу.

– Нет, Леон, не слюнки. Я думаю, слюнки текут у лакомок, при виде лакомств. Нет, когда я голодна и вижу пищу – у меня слезы текут из глаз. И, знаете, я понимаю крокодила, когда он – голодный – смотрит на птичку или кролика. У меня это те же «крокодиловы слезы» – и она засмеялась.

Дом был близко от ресторана, и они решили идти пешком, любуясь красотой ночи. На ступеньках крыльца Лида остановилась и еще раз, подняв лицо, посмотрела на небо долгим взглядом.

– Боже, какой это был длинный день! – сказала она, вздыхая. Знаете, Леон, мне теперь все чаще приходят в голову разные мысли, новые мысли, о жизни, о смерти, о любви, о красоте. Даже не то, что они приходят в голову, они как-то открываются мне, как-то совсем по-новому... Новыми сторонами старого... Они вдруг открываются во мне самой, в моем сердце – и это так сильно... так удивительно, это потрясает меня. Знаете, именно, потрясает, пронзает... А вас, Леон, вас потрясает?

– Потрясает, – с мягкой, ласковой иронией ответил Леон.

– Ну, до свидания...

И она ушла. Она уходила вверх по лестнице, и каблочки ее туфель отбивали staccato. Она уходила, подымалась всё выше и выше, и звуки staccato становились всё тише. На чердаке хлопнула дверь. В маленьком окне, как еще одна звезда, засветился мигающий огонек.

Глава седьмая

После концерта Лида стала известна в высшем европейском обществе города. О ней говорили, о ней написали в газете в отчете о концерте – всё в самом хвалебном тоне. Госпожа Мануйлова осталась очень довольна выступлением Лиды. Поездка в Харбин была решена.

Заволновались, заговорили и русские друзья семьи, сулили Лиде «блестящее будущее», конечно, не сейчас, не сразу, а потом. Разумеется, никто и не собирался помочь чем-либо на деле, но все справлялись когда Татьяна Алексеевна дома, Не на дежурстве, и «забегали» поздравить, на чашечку чаю, и все как один, начинали визит с выражения неудовольствия по поводу невозможно высокой лестницы: «И как это вы тут живете, право!»

Одной из первых явилась мадам Климова.

По ее собственному признанию, она не могла равнодушно смотреть на «печатное слово», когда там появлялось имя кого-либо из близких знакомых: в нем являлось как бы что-то священное. Она принесла вырезку из газеты Лиде в подарок. «Наша, наша русская девочка! Боже, я знала ее малюткой, и вот в газете – в английской! – о ней пишут. Я испытываю такое волнение, точно это мой собственный ребенок».

Был и другой повод для этого визита, но о нем мадам Климова пока умалчивала. Она любила «строить» на благоприятных обстоятельствах, у кого бы они ни случились, и у ней назревал план, что и как «строить» на Лиде.

Несмотря на то, что, вступая во второй брак, мадам Климова, по ее выражению, начинала «новую, живописную фазу жизни», эта фаза обернулась не той стороной. – «Еще один роман разочарования!» воскликнула она. – «О, мадам Бовари, как я тебя понимаю! Вы помните этого ее Шарля? Какой бесцветный мужчина!» – говорила она, намекая на уже – увы, так скоро! – «разбитые иллюзии». Да, она вышла за генерала – и что же? Начать хотя бы с имени: никто и не подумал называть ее генеральшей Шабаловой, или – как прелестно это звучит по-французски! – «Madame la Generale», нет, по каким-то неизвестным причинам она осталась для общества той же Климовой, а генерала вдруг стали называть «мужем Климовой», их обоих вместе – «четой Климовой».

В мыслях она понимала это свое второе замужество, как восхождение по общественной лестнице. Ей грезилось нечто «в американском стиле». Она слыхала, что в Америке женщины не имеют возраста, они всегда и вообще моложе мужчин и выходят замуж – вновь и вновь в течение всей своей жизни: сначала по любви, затем, насытившись любовью и разведясь, по расчету, за деньги; составив капитал и вновь разведясь, выходят за того, кто даст высокое положение в обществе; затем за красивого молодого человека, чтобы было с кем танцевать танго и путешествовать; затем – ах, Боже мои! – мало ли из-за чего выходит замуж уже обеспеченная женщина. Заканчивается всё умирительно: если дама еще жива, она выходит замуж за проповедника, помогает ему проповедывать и дома и в диких странах, – и они вместе делают добрые дела. И вот она, Климова, побывав уже замужем по любви и не предвидя возможности выйти за деньги, пошла за положение в обществе – и посмотрите на результат!

Это еще не всё. Женившись, генерал переменялся: он потерял воинственность. Возможно, перемена эта началась и раньше, но у мадам Климовой не было времени разбираться в чужих характерах.

И вот: генерал впал в мистицизм. Вы слыхали это?

Как некоторые из насекомых, обладая «четырьмя фазами жизни» проделывают путь: личинка, гусеница, куколка, бабочка, – генерал данный период совершал четвертую и последнюю метаморфозу: генерал сделался бабочкой. Он уже не был слепой прожорливой

личинкой не ползал гусеницей, не спал непробудно куколкой, – он бабочкой порхал, припадая к самым ярким и ароматным цветам жизненной мудрости: генерал сделался мистиком.

Что можно найти из русских сочинений по мистицизму на книжном рынке в глубине Китая? Да и приобретать, по своим средствам, он мог только сильно подержанную литературу. Совершенно случайно купил генерал томик сочинений Сковороды. Он не знал, что это – Сковорода, – и начало и конец книги были оторваны. Но знай даже генерал, что он читает – это ничего не изменило бы, так как в военных кругах не имеется сведений о Сковороде.

И вот вечерком, перед сном, он открыл книжку и прочитал:

«Я блуждал посреди вселенной, прибегая к Богу, как заблудшая овца; я предпринимал большие беспокойства и старания, дабы Тебя найти вне себя, в то время, как Ты обитаешь внутри меня самого... Я запросил землю, море, пропасти и животных... Я прибег к воздуху, небу, луне и звездам... И я прибег к собственному своему сердцу, его исследовал и спросил самого себя».

Генерал смутился духом. По одной и той же земле блуждало их двое. Пока тот неизвестный человек вопрошал о Боге и землю, и бездну, и море, – он, генерал, где-то тут же по близости возился с пушками, воевал. Какая несообразность и какая обида! Невзначай он мог убить и того милого человека, который искал Бога. Генерал был пронзен.

В той же лавке он нашел еще книжку, обрывок «Добротолубия»: цена – десять центов, страницы – от 34 до 128, какого тома – неизвестно. Прочел – и метаморфоза совершилась. Генерал выбросил свои военные карты. Зачем он был генералом? чего ради он воевал? Кто победил его? В чем смысл его поражения? В этом надо было разобраться при свете новых истин.

Его участие в боях жизни было закончено. Его стали манить иные видения: пещеры, пески, безмолвные пустыни, жгучие ветры – и, главное, одиночество, молчание, религиозная мысль.

Мадам же Климова мыслила житейски. Всякое увлечение отвлеченной идеей она считала признаком начинающегося сумасшествия. Поднимался спор. Привыкший или приказывать, или повиноваться генерал не умел вести спора, т. е. не умел во-время найти слово, чтобы отразить аргумент противника. Возражение приходило ему на ум лишь на следующий день, когда мадам Климова обычно уже забывала, в чем было дело. Она с презрительным сожалением отмахивалась от запоздавшего возражения и «уходил а в свой мир». Увы, этим миром снова сделался покойный герой Климов. Она задумчиво брала гитару, – свадебный подарок Дамского Комитета, – на которой булавкой была выцарапана следующая надпись:

Москва! Москва моя родная,
Окажи, увижу ль я тебя?

Она брала гитару и, обратив мысль к Климову, пела глубоким контральто, «с душою»:

Лишь ты да я, лишь ты да я —
Мы ничему не изменили...

Но генерал не понимал ее сложных эмоций, нисколько не обижался, не страдал и вообще как бы забывал, что женат и имеет подругу жизни.

Затем появились и другие «психологические» осложнения: еще одно замужество в семье. Единственная дочь мадам Климовой, балерина Алла, вышла замуж. В течение последних двадцати лет мадам Климова страстно желала и ожидала этого события. Согласно ее

воле, Алла танцевала где-то в Великом океане, на разных там островах и полуостровах, словом, в местах, где всё на свете может случиться с талантливой танцующей девушкой. Это там живут раджи, у которых подвалы полны изумрудов. Житейская мудрость подсказывала ей, матери, что и танцевать надо поблизости к тем подвалам. Но счастье не захотело улыбнуться Алле, и вот в этом последнем письме были известия, совсем не походившие на блистательное завершение карьеры. Балеты терпели банкротства. Не было надежды найти «амплуа». Алла вышла замуж и ехала к матери с мужем. Муж – смешанной расы, имя – мистер Нгнуйама. Он – также безработный.

Не о таком замужестве мечтала мадам Климова для своей дочери. «Что всё это значит?» раздумывала она. «Всё это ужасно. Фантастично. Как Алла могла избрать подобного мужа? Что скрывается за этим?»

Правда была, проще, грубее, но зато глубже и человечнее, чем все догадки мадам Климовой.

Несчастья Аллы начались с детства, с того дня, как ее мать, «презиравшая будни», решила «создать сказку» из жизни дочери.

Мадам Климова была совершенно что самый легкий путь к счастью и славе – балет. На этом основании она строила о будущем дочери самые фантастические планы. «Священный материнский инстинкт» подсказывал ей, что не надо сомневаться в том, что судьба Аллы – стать прославленной балериной, танцующей на пяти континентах, несравненной по таланту на всем земном шаре, каких и не видано было доселе. Ничто не могло разубедить мадам Климову: ни неуклюжесть ребенка, ни заурядное телосложение, ни слезы, ни мольбы, ни просьбы уже подрастающей Аллы освободить ее от танцев; она ненавидела танцы. Алла росла некрасивой, сутулой, застенчивой. В школе танцев смеялись над нею, над ее костлявой фигурой, гусиной кожей, выдающейся нижней челюстью, над ее унылым и жалким видом.

Алла танцевала на сцене двадцать лет. Ее жизнь была тяжелой и грустной. Лучше и не вспоминать, не рассказывать. Но какова ни была Алла и ее жизнь, установим один лишь факт: в какой бы стране, климате, зоне, на какой бы сцене и в каком ансамбле, какие бы танцы она; ни танцевала, как бы горько ни нуждалась сама, через какие бы унижения, отчаяния она ни проходила – не было случая, ни разу за все двадцать лет, чтобы она не послала матери «священные» сто долларов в месяц и еженедельное письмо. Ее письма были нежны и милы. Она не описывала ужасов жизни, даже не намекала на них. В письмах были только обнадеживающие слова, скромные просьбы простить, что она не оправдывает надежд матери. Мадам Климова принимала всё – и деньги, и письма, и их тон, как должное. В ответ она все торопила Аллу выйти, наконец, замуж за одного из сказочно-богатых принцев Индии или другой какой страны и дать приют скиталице-матери.

И вот Алла вышла за мистера Нгнуйама. Кто же был он?

Он был потомком многих смешанных рас и браков, даже наука едва ли могла бы с уверенностью сказать, кто он. Его появление на свет, натуральное рождение человека, было одним из тех, которые осуждаются церковью, не одобряются законом, презираются обществом, вызывают насмешки и негодование даже у родственников. Но слепая природа, равнодушная ко мнениям людей, дала ему жизнь – и он жил.

Мать не радовалась его рождению, не подарила ему первый свой взгляд с улыбкой. Отца он никогда не видел, отец был белой расы. Родные матери отказывались даже прикоснуться к ребенку. Итак Нгнуйама родился трижды парией: он был смешанной расы, незаконнорожденным, бедняком. Но он жил, он рос и стал взрослым человеком. Без покровителей, без руководителей он вошел в жизнь и начал борьбу за существование. Как он жил, что чувствовал, что думал – неизвестно. Он был чрезвычайно одинок и неразговорчив. Общество инстинктивно сторонилось его: обиженные люди дают высокий процент преступности.

В наше время всё возрастает число неразговорчивых людей. К этому должны же быть причины: возможно, людям нечего уже прибавить к тому, что происходит в мире; возможно, что человеческое слово уже бессильно помочь пониманию между людьми. Во всяком случае, слово потеряло свою прежнюю силу и очарование для человека. Делается очевидным, что времена, когда хотелось «поговорить, порассказать, потолковать и обсудить» с другими вопросы собственной жизни – прошли; глубокое и горькое молчание о собственном сердце, о тайниках своей души заступило их место. Такие, как мистер Нгнуйама, постигли это раньше других. Они не поют и не слагают песен, не ведут дневников, не собирают фотографий, не оставляют после себя книг. Они молча пьют свое кофе в ресторане, не вступая в разговор с соседом. Они молчат в трамвае, молчат в вагоне. Разговор на серьезные темы всё более и более предоставляется особым лицам, – «специалистам слова», – человечество же в целом как-то замыкается в себя, погружается в молчание.

Мистер Нгнуйама принадлежал к римско-католической церкви. Каждое воскресенье его можно было видеть у ранней мессы. Он редко садился, он больше стоял где-нибудь в тени, в углу, за колонной – стоял неподвижно, упорно глядя на какой-либо священный образ или символ, как бы ожидая от него внезапного раскрытия тайны.

Общество предоставляет своим пасынкам малый выбор способов добывания средств для существования. Мистер Нгнуйама избрал коммерцию, покупая и перепродавая что придется. Купить надо было дешево, продать быстро, т. к. он не обладал не только складами для товара, но и жил редко в отдельной комнате. Во время какой-либо из местных войн, он надевал мундир солдата. Воевал он как-то равнодушно, но храбро, пока платили жалованье. Ему случалось иногда сражаться поочередно на разных фронтах одной и той же войны, в зависимости от того места, где его заставал набор в армию.

О белой расе у него, однако же, сложилось определенное мнение. Белым нужен был каучук, металлы, минералы, тиковое дерево, уголь и, если где есть, нефть. Они хотели, чтоб Нгнуйама добывал это для них из своей родной почвы, так как белые люди сами не могут работать в жарком климате. Они также желали, чтоб Нгнуйама работал за дешевую плату и вел бы при этом себя прилично. У них всегда были в избытке идеи религиозные, политические, экономические, которыми они охотно делились, но Нгнуйама к идеям был равнодушен, по крайней мере, внешне выказывал полное равнодушие, – и хранил упорное молчание. Друг ли он цивилизации белых людей – или же враг ее? Нгнуйама еще не сказал своего последнего слова.

Его встреча с Аллой и женитьба произошли таким образом.

Он продавал – в разнос – данные ему на комиссию подпорченные чулки из искусственного шелка. Алла всю жизнь нуждалась в чулках. Она купила – на выплату – две пары и тут же, при мистере Нгнуйама, надевая одну из них, сказала без всякого видимого повода:

– По-русски нет слова «half-caste»⁷.

Если бы она сказала, что русские – не люди, а птицы, она не произвела бы большего впечатления. Мистер Нгнуйама выронил из рук картон с чулками и на мгновение застыл с вытянутыми над рассыпавшимся товаром, руками.

– Да, – повторила Алла, – в русском языке нет такого слова.

Они говорили по-английски, на языке чужом для обоих, и не на настоящем английском, а на том жаргоне, которым пользуются на Дальнем Востоке.

Мистер Нгнуйама нагнулся, собрал чулки, и, не говоря ни слова, покинул комнату.

Он пришел за платой на следующей неделе. Одна пара чулок уже износилась, и Алла решила взять в долг еще пару, но подешевле. Уже уходя, на пороге, мистер Нгнуйама остановился и, вполоборота, не глядя на Аллу, спросил:

⁷ Приблизительный смысл – отверженный.

– Если человек «half-caste» приедет в вашу русскую землю, то как они его там называют?

– Как называют? – повторила Алла. Она сидела на кровати, рассматривая новые чулки, растягивая их жидкую ткань «между своими длинными темными костлявыми пальцами. – Ну, скажут, иностранец приехал, – добавила она равнодушно, небрежно. – В русском языке нет слова для «half-caste». Кто не русский, тот иностранец.

– А если англичанин приедет? француз? голландец?

– Также скажут: иностранец приехал.

– «Также»... – тихо задохнулся мистер Нгнуйама.

Он ушел и не приходил довольно долго. Алла износила чулки и, не имея нигде кредита, ходила на босу ногу.

Наконец, мистер Нгнуйама появился снова. Он не настаивал на уплате долга, а предложил – опять в кредит – две пары более прочных и почему-то – более дешевых чулок. Уходя, и опять на порога полузакрыв свои и без того узкие глаза, он тихо и отдельно спросил:

– Если случится, что в вашей стране родится незаконнорожденный ребенок – что скажут люди?

Эта тема вызвала у Аллы довольно горячий интерес.

Что скажут? – ответила она живо. – Скажут, отец, должно быть, был подлецом, но при чем же тут ребенок?

Мистер Нгнуйама заметно вздрогнул.

– А когда мальчик вырастет?

– До того времени и он сам и все другие позабудут об этом.

Не говоря ни слова, мистер Нгнуйама покинул комнату.

Балетная труппа обанкротилась. Балерины разыскивали по свету родственников, куда бы поехать на гастроли. Алла оставалась безработной. Мистер Нгнуйама пришел с аккуратно завязанным большим узлом. Он продавал пижамы, уцелевшие после какого-то пожара.

– Мистер Нгнуйама, – сказала Алла грустно, – не знаете ли вы места, где я могла бы танцевать?

Мистер Нгнуйама не знал. Он ловко развязал узел, но Алла отказалась смотреть пижамы.

– В вашей стране... – начал он, нагнувшись низко над своим узлом.

Алла перебила его:

– Опять вы про мою страну! – Но вдруг какая-то мысль осенила ее, и она внимательно посмотрела на мистера Нгнуйама. Он случайно поднял голову, их взгляды встретились.

– Знаете что, – сказала она просто и мило, – я поняла вас. Мы – русские – не очень-то хороший народ, не из лучших. И у нас люди ссорятся, часто ищут оскорбить и унижить другого человека, но лишь за то, в чем он сам виноват, что сам сделал, а не за то, в чем он обижен судьбою, что от него не зависит... Русские не будут издеваться над человеком родившимся слепым, горбатым, незаконнорожденным...

– До свидания, – едва слышно прошептал мистер Нгнуйама и покинул комнату. Но за дверью он остановился. Казалось, он несколько мгновений не дышал. Затем, взвалив узел на плечи, он ушел к себе, в туземную часть города.

Балетная труппа обанкротилась совершенно и бесповоротно. Антрепренер покончил самоубийством. Прима-балерина сбежала с коммивояжером. Партнеру Аллы повезло: он поступил главным лакеем в отель. У Аллы же открылся туберкулез. В стране не было ни бесплатных докторов, ни санаторий, и она – беспомощная, в отчаянии – одна боролась со смертью на своей постели.

В одну из страшных минут тоски и страданий, когда Алла, как бы уже из могилы, возвращалась к жизни после приступа кашля – дверь тихо отворилась, и вошел мистер Нгнуйама.

Им понадобилось немного слов, чтобы решить, заключительный этап своей общей судьбы. Нгнуйама женился на Алле, чтобы заботиться о ней. У него есть сбережения – хватит на два билета третьего класса до Тяньцзиня. Он увезет Аллу к матери. Сам он постарается найти работу, и всё, что заработает, будет отдавать Алле. Там лучше климат. Там она станет лечиться. Около матери ей будет хорошо. Алла поправится.

Алла не возражала ни на одно из его предложений. Они расписались в конторе нотариуса и были на пути в Тяньцзинь, к мадам Климовой.

Такова была история замужества Аллы.

Не были сказаны, не произносились слова любви, радости, надежд. Это не был союз любви. Это был печальный союз двух людей, крайне униженных, растоптанных жизнью, союз двух человеческих отчаяний, из которых одно – еще на ногах – старалось поддержать другое, уже наполовину сошедшее в могилу.

Но какой же это роман? Разве Нгнуйама походил хоть чем-либо на сказочного принца, которого двадцать лет ждала мадам Климова? Такое замужество – было ошибкой, преступлением со стороны Аллы. Три месяца уже, как не было и денежных переводов. О дети, дети! Как вы неблагодарны!

Но надо было «спасать лицо», надо было предпринять что-то, как-то «осведомить общество», подготовить почву к появлению Аллы с ее Нгнуйамой. Мадам Климова то здесь, то там «бросала» фразу, что Алла «кажется» приедет навестить мать, познакомиться с отчимом-генералом. Если приедет, – тут хитро мигнув глазом, – то не одна. Надо было начать с того, чтоб показать Аллу в самом выгодном свете – на сцене. Тут и начиналась «постройка» на Лиде. Можно организовать концерт: Алла и Лида. Сбор пополам.

Алла на сцене, Алла в «тю-тю» и на пуантах, – остальное пойдет уже само собою. И вот, по ее словам, «раздавленная» заботами, мадам Климова кинулась на чердак, где жила Лида, – с подарком в руках и планом организации блестящего «gala»-концерта в голове.

Глава восьмая

– Наконец! – воскликнула мадам Климова, распахивая дверь. – Наконец... но, Боже, какая лестница! Как вы тут живете?.. Наконец, Лида, и ты взялась за ум, позабыла своего американца и начала делать карьеру. Поздравляю! Русское искусство царит по свету! Взять, к примеру, хотя бы Аллу... знаменита почти с колыбели... с молоком матери всосала любовь к балету. Да, мы, русские матери, много дали нашим детям!.. Пойдите – здравствуйте! – прервала себя мадам Климова, тут только вспомнив, что она еще не поздоровалась, – Вот, Лида, тебе подарок! Это – вырезка из газеты. Пора, пора тебе давать концерты! Помогу, чем в силах помочь. Организуем для тебя... распространим... обставим... Будут, будут и слава и деньги!

– О Боже, как ненавижу я бедность! – вдруг воскликнула она из глубины сердца, и, вздохнув, стала усаживаться на стул, пододвинутый Лидой. – Вот и у вас... Я и в кино хожу исключительно на картины, где роскошь: отели, туалеты, ковры. Если действие происходит в деревне, или там на ферме, или в городе, в одной комнате, – меня оно уже не трогает, не возвышает над повседневным. Ах, лучше всего и богаче – американские картины – счастливые концы! Как это великодушно придумано, как брошено в утешение бедняку! Не то, что у нас! – она повздыхала и вдруг совершенно переменила тон, – Давайте-ка, Лида, организуем для тебя хороший концерт, зарабатывай выходи на дорогу успеха и красоты! Вот Алла приезжает – и с ее опытом на сцене как же она будет тебе полезна!

На минуту Лида оцепенела:

– Алла приезжает? В Тяньцзинь?

– А то куда же? – грубо оборвала мадам Климова.

Лида не находила слов. За годы знакомства с Климовой при постоянных баснословных сообщениях о выступлениях Аллы, ее великолепии, ее успехах – Алла превратилась для Лиды в миф. Алла – на пороге к мировой славе, Алла, у ног которой «положительно валялись» принцы, Алла, благородно прощавшая интриги против себя всяким бесчестным выскоккам в балете, Алла (и это уже факт!) двадцать лет содержавшая мать в комфорте – эта Алла приезжает в Тяньцзинь.

– А ее можно будет увидеть? – прошептала Лида.

– Как же, как же! И знаешь, пользуйся случаем, Лидочка, организуй концерт, она потанцует, ты споешь что-нибудь, сбор пополам...

– Но я не посмею, – испугалась Лида. – Я ведь только начинаю...

– Ничего, не бойся. Алла замажет промахи. Сбор пополам. Ее муж...

– Алла замужем? – тут уж удивилась и мать Лиды.

– Как же, как же, вышла.

– За кого? – почти крикнула Лида.

– Ну, что ты кричишь? За кого? За своего мужа, конечно.

– Как теперь ее фамилия?

Мадам Климова дважды открывала рот и дважды закрывала его, прежде чем произнесла: Нгнуйама..

Как? ахнула Лида. – Боже какое слово!

– Лида, – вмешалась мать, – успокойся, что с тобою? Что ты вскакиваешь с вопросами? Извините ее, – обратилась она к мадам Климовой. – Знаете, девочки любят расспрашивать про свадьбы.

Но в интересах самой рассказчицы было поставить кое-какие точки над *i* – и сделать это именно здесь, у хороших, у добрых людей, чтобы из этого чистого источника пошли первые известия об Алле.

– Влюбилась и моя дурочка, вот как ваша Лида. Сколько горя причинила она другим своим отвергнутым поклонникам, сколько слез! Но сердце матери! «Люби» – послала я ей в ответ телеграмму. И сама я, как вспомню покойного Климова... – и вдруг она расплакалась.

Причина слез ее была, конечно, не та, какую подозревали Лида и ее мать. «О, Боже мой, и через столько лет...» подумали обе, каждая обращаясь к памяти своего сердца.

– Он – иностранец, конечно, – опять заговорила мадам Климова, – по вере – католик, *французский подданный*...

Теперь всё было сказано. Она встала:

– Ну, Лида, вот и твой шанс. Используй. Обдумай и начнем действовать.

Мадам Климова спустилась вниз за генералом, который зашел к графу Диаз. Ее всегда удивляла та легкость, с какой ее муж входил в любое общество, как свой, и в любой дом, как в своей собственный.

Без особых поклонов, без лести и комплиментов. Вот и сейчас, это он был приглашен к графу, она же нарочно подстроила свое посещение на чердак в то же время, чтоб зайти «к графам» по необходимости.

У входа, на ступеньках, сидел мальчик Карлос, на каникулы приехавший домой, и с ним Собака. Мальчик что-то быстро рассказывал по-испански, Собака мрачно слушала. Чтобы пройти, надо было толкнуть или мальчика-графа или Собаку. Мадам Климова толкнула Собаку. На это Собака вдруг встала, выпрямилась, оцетинилась и глубоким раскатом зловеще зарычала. Мадам Климова схватилась за сердце. Мальчик Карлос потянул Собаку за ошейник.

– Проходите, не бойтесь, – успокоил он мадам Климову. – Она вас не тронет: она только что покушала.

– Вам еще не надоел мой муж? – с этим игривым вопросом вступила Климова в гостиную «графов». Разговор шел о Европе. Семейство Диаз, получив наследство, решило покинуть Китай и поселиться в Париже. Мадам Климова, никогда не бывшая ни в одной из столиц ни на одном континенте, невольно исключалась из разговора. Она занялась рассматриванием журналов. Мальчик Карлос вошел с Собакой и усадил ее в кресло, а сам сел на полу, на ковер. Мадам Климовой это показалось возмутительным: графиня не видит, а собака пачкает бархатное кресло. Она взмахнула рукой, чтоб прогнать Собаку и угодить графине.

– Еще нагадит! – сказала она вслух.

У Собаки окончательно лопнуло терпение. Она поднялась и, глядя прямо и упорно в глаза мадам Климовой, издала ужасный гортанный звук. Ее нос собрался в мельчайшие складочки, и они волною задвигались вверх и вниз, открывая – Боже, какие! – зубы. Граф кинулся к Собаке, графиня кинулась к Собаке. Мальчик Карлос повис всей тяжестью своего тела на Собаке, все старались ее успокоить. Они все укоризненно смотрели на мадам Климову, говоря, что собак нельзя бить без причины, особенно собак из породы бульдогов.

Но Собака уже успокоилась, ограничившись лишь небольшим приступом икоты, а несчастная, испуганная мадам Климова слишком поздно вспомнила мудрую китайскую поговорку: «Прежде чем ударить собаку, узнай, кто ее хозяин». Светская приятность визита была испорчена, еще одна попытка быть приятной в высшем обществе потерпела фиаско.

Глава девятая

Разговор о поездке в Харбин и приготовления к ней наполнили жизнь Лиды радостным, непривычным для нее оживлением. Она ходила по магазинам с госпожой Мануйловой, покупавшей необходимые для путешествия вещи. Лида, не веря глазам своим, оказалась владелицей трех туалетов: у нее появился серый костюм из английского твида, темно-синее шелковое платье для визитов и – кто бы мог ожидать? – модное вечернее платье: широкая и длинная черная юбка из тюля и к ней коротенький жакетик из серебряной парчи, который светился и сиял при вечерних огнях. То, что с каждым туалетом она могла теперь надевать разные туфли и перчатки, казалось ослепительной роскошью. В первый раз в жизни у Лиды оказалось четыре пары новых чулок и две шляпы, к костюму и к синему платью. Госпожа Мануйлова купила ей также хорошенький чемодан, сумку и кошелек, и Лида переживала минуты, полные волнения, укладывая вещи в чемодан, запирая и снова открывая его, пряча ключик в кошелек, а кошелек в сумку. Из своих собственных вещей она «упаковала» одну только брошку.

Перед отъездом Лида должна была сделать несколько визитов, один из них к госпоже Климовой, которая уже оповестила всех о приезде дочери и о том, что «принимает», как обычно, по субботам, после четырех, но что утомленная дальним путешествием Алла едва ли сможет видеть друзей семьи. В общем, разосланные записки давали ясно понять – между строк – что друзья семьи могут по субботам после четырех оставаться у себя дома.

При первом взгляде на возвратившуюся Аллу даже мадам Климовой стало ясно, что ее дочь оттанцевала все земные танцы и возвратилась к матери на короткий срок. Когда, в день приезда, она – на звонок – распахнула дверь, перед нею предстала картина, на полчаса лишившая ее всяких слов и восклицаний. Хотя главным ее жизненным правилом – тайным, конечно, – было «не погружаться в чувства», особенно горькие, – мадам Климова, в тот момент, почувствовала многое, очень многое. Она молча отступила в сторону, давая дорогу шатавшейся от слабости Алле и поддерживавшему ее мистеру Нгнуйама. Алла была так худа, что, казалось, не только одежда, но и кожа, и зубы, и волосы не принадлежали ей, а были поспешно и неряшливо наброшены на ее скелет для этого визита. Но засуетился генерал, и это заполнило жуткую паузу первых минут свидания. Мистер Нгнуйама усадил Аллу на стул, и она тут же начала кашлять. Припадок кашля сотрясал ее, сгибал вдвое, корчил, скручивал, выпрямлял. Мистер Нгнуйама суетился около, давая ей что-то выпить, что-то понюхать, вытирая катившиеся из ее глаз слезы одним платком и кровь, струйкой сочившуюся из ее рта, – другим. При этом он не издал ни одного звука и ни разу не посмотрел на родителей Аллы.

Наконец, кашель затих, Алла успокоилась. Генерал и мистер Нгнуйама уложили ее на диван. Через несколько минут, собрав силы, она открыла глубокие, как две пещеры, темные, провалившиеся глаза, и они вдруг засияли, засветились горячим светом. Она улыбнулась слабой, чистой детской улыбкой и сказала:

– Здравствуй, милая мама!

Мадам Климова сделала несколько шагов по направлению к дивану, зашаталась, схватилась за сердце и разразилась горестным воплем, на этот раз, совершенно искреннего отчаяния:

– Боже, за что ты меня караешь?

Генерал кинулся к ней, уложил ее на другом диване, отсчитал Двадцать валерьяновых капель, приготовил холодный компресс. Мистер Нгнуйама, с которым еще никто не поздоровался, стоял около Аллы, беззвучно, опустив голову. Так началась «новая фаза» жизни в семье Климовых.

Придя в себя, мадам Климова обдумывала «создавшееся положение». Аллу она решила простить: ребенок! да к тому же и на чужбине Обошли ее злые люди. Судьба, кисмет! Всю желчь обманутых надежд она перенесла на мистера Нгнуйама. Вот это муж! Повесить его – да что я – повесить! – четвертовать, колесовать его надо! И он смел жениться на ком? – на знаменитой балерине, на генеральской дочери! Не мог он стать чуточку побелее, хотя бы ради приезда в генеральский дом?

И генерал также дивился на мистера Нгнуйама. В этом человеке не было ничего прямого, открытого. Нечто прячущееся скользило в его взгляде, как будто бы он не хотел, чтоб его видели, что-то секретное, глубоко зарытое внутри, что-то от ночного животного – летучей мыши, что ли, – так казалось генералу. По внешнему виду никак нельзя было заключить, каковы были его интеллект, мораль, чем он занимался, на что годился. Одно было совершенно ясно: он был беден. Это последнее и явилось главной причиной жгучей ненависти к нему у мадам Климовой. «От него пахнет подземельем. Не могу выносить!» – жаловалась она генералу. Но скажем правду: будь он тот же, совершенно такой же, но принц, покрытый драгоценными камнями, с короной на голове – другое дело! – мадам Климова гордилась бы мужем Аллы, льстила бы ему, рассказывала бы о нем чудесные сказки, и пахнул бы он не подземельем, а восточными благовониями. Бедность приостанавливала, парализовала работу воображения у мадам Климовой. Что же касается до разговора, она совершенно не разговаривала со своим зятем. Да на каком языке стали бы они говорить? Она не понимала его английского, он не понимал ее французского. Нет, ему она не скажет ничего. Не унижится до разговора. При его появлении она лишь подымала брови, при этом странно суживая глаза, сжимала зубы и медленно уходила из комнаты. С Аллой она говорила, но разговор фатально возвращался всё к одной теме: надежды матери обмануты жертвы ее – напрасны, советы – в пренебрежении, и пот результат! Тут Алла начинала плакать. Ей надо было давать лекарство. Разговор прекращался.

Последним разочарованием мадам Климовой было то, что Алла не привезла с собой никаких сувениров, никаких прелестных вещичек, которыми обычно богаты балерины. Во всем-то багаже Аллы она смогла найти всего две-три вещички, которые стоило взять для себя. Одна ей очень понравилась. Это был маленький ящичек из кожи, тисненый очень сложным золотом и цветным узором. В нем была небольшая записная книжечка-календарь в таком же роскошном переплете. Год – 1903. Январь и февраль были вырваны. Книжечка начиналась с четырнадцатого марта. Под этим числом элегантно мужским почерком было написано:

«La vertu me séduit. Le peché possède»⁸. Через неделю, 21 марта, было добавлено тем же почерком:

«L'amor – fleur minuscule»...⁹

Мадам Климова, с помощью словаря, перевела это – и восхитилась.

Тридцать шесть лет тому назад отец мистера Нгнуйама позабыл книжечку у матери мистера Нгнуйама. Тогда ей было пятнадцать лет. Она прожила еще пятнадцать, надеясь, что он придет за позабытой вещью. Он не пришел. Ящичек с книжечкой был оставлен сыну по наследству.

Мадам Климова вырвала исписанные два листка и положила книжечку в свою сумку – для адресов. А коробочку она поставила на туалетный столик – для шпилек. Эти вещички, – не правда ли, какие восхитительные! – она показывала при случае. Когда же разговор переходил на Аллу, она грустно поникала головой и тихо декламировала:

⁸ «Добродетель меня пленяет. Грех мною владеет».

⁹ «Любовь – крохотный цветок»...

Не подходите к ней с вопросами:
Она раздавлена колесами.
Вам – всё равно, но ей, ведь, больно...

И для незнающих поясняла: «Это – из Блока. Я подразумеваю, конечно, не просто колеса, а колеса Судьбы». Эти строки были, между прочим, всё, что она запомнила из Блока.

Когда Лида пришла к Климовым, для нее было сделано исключение: ей показали Аллу. Что же касается мистера Нгнуйама, его не было дома, в эти часы он работал «в своей конторе». Но и одной Аллы было достаточно, чтоб потрясти Лиду. Безмолвная, она стояла перед диваном, и в ее глазах был испуг. Мадам Климова прервала тяжелую сцену, уведя Лиду к чайному столу, где, между прочим, не было никакого чая.

– Ну-с, Лида, поезжай в Харбин. Богатый город! Пой, очаровывай да поглядывай по сторонам. Выбирай получше жениха и пригласи меня на свадьбу.

– Но я же обручена, – начала Лида.

– Ты все еще носишься с этой глупостью? – вскричала мадам Климова в негодовании, – Девушка из высшего класса русских беженцев в Китае! Что ты нашла в твоём мальчишке? Он даже не купил кольцо, он не пишет писем, известен в нашем обществе только тем, что отсутствует... А ты бегаешь за ним. Где самолюбие? Нет, надо быть или совершенно душой или слепой: тут же, тут же в доме – молодой граф, не привидение, нет, граф во плоти, – и плоть, и кость, и кровь, – всё, как следует. Мало того, он же еще получает наследство... Нет, не могу... прямо сердце разрывается, видя, сколько безумия а свете. Но и у сумасшедших бывают просветы сознания. В одну из таких минут, Лида, умоляю тебя, ради вообще всех нас русских страдалец-матерей, вспомни, что в нижнем этаже – дышит богатый граф. Да если бы ты была умной девушкой, ты бы и спала на пороге в их квартиру, вместе с той собакой, чтоб не допустить конкурентку в дом, а ты!..

– Но я помню о нем всегда, – сказала Лида наивно. – Он даже нравится мне очень. Он уже сделал мне предложение, но я отказала.

– Ты... что? – качнулась мадам Климова.

– Я отказала. Сказала, что люблю Джима.

Мадам Климова впилась в Лиду ястребиным взором: нет, девушка лгала, она говорила правду.

– Одно слово, Лида! Одно только слово! Если б я не жалела твою мать, я бы не сказала тебе и этого одного слова. Для тебя я бы умолкла навеки. Я бы просто крикнула: *пошла вон!* Знаешь, кто ты? Ты коммунистка, ты – позор для нашего класса... Такое отношение к графу! Ты разрушаешь мировоззрение, традицию благородства... Нет, я больше не могу... Он же получил наследство.

Что ж ты – анархистка? Не уважаешь собственности? О, русские девочки, какое падение! Будь я твоей матерью... я бы бросила тебя на колени, чтоб ты ползала и просила у Бога прощения. Что там говорить – коммунисты, нацисты – давайте посмотрим на наших собственный деток! Ты могла в один день восстановить славу твоей семьи, обеспечить мать, и сама иметь деньги, титул, молодого прекрасного мужа... Вижу, ты заслужила свою казнь, это замужество с Джимом. Безумная! Выходи – и терзайся! Выходи – и бегай босиком! Я умываю руки!

Совершенно расстроенной, несчастной ушла Лида от Климовых! Она старалась думать о своей поездке, но ничто ее не радовало. Она смотрела вокруг и делалась еще печальней. Как изменился город после того, как пришли японцы! Даже и Британская концессия была перенаселена китайцами, прятавшимися от преследования японцев. Тут и там ходили, сидели, стояли – по одиночке или группами – люди, незанятые ничем, молчавшие угрюмо или говорившие без оживления. Было что-то безличное, призрачное во всем этом. Они похо-

дили на актеров без ампула, ждущих в прихожей антрепренера, еще не знающих, какую новую роль даст им судьба – и даст ли?

Даже и очертания города как бы изменились, нарушилось в чем-то прежнее соотношение построек и улиц. Улицы сделались уже, дома – ниже, окружающие их стены поднялись выше. Ворота все заперты, шторы спущены. Чувствовалось, кто-то прятался от кого-то, или же – проще – все прятались, на всякий случай – друг от друга.

Глава десятая

Трехдневное путешествие из Тяньцзиня в Харбин показалось Лиде волшебством. Она провела эти дни в непрерывном радостном возбуждении.

Лида, как сказала бы мадам Климова, «производила впечатление». Только пальто у нее было старое, но она старалась надевать его пореже, лишь вечером, когда выходила на станциях. Обычно на ней был ее новый серый костюм, и на этом фоне вдруг выступили все благородные черты ее породы, врожденная грация движений, очаровательная сдержанная приветливость, ко всем одинаковая. Лида выглядела несомненно аристократкой. Ее глаза – серо-голубые, волосы – золотые, с серебристым оттенком, высокий рост – всё выделяло ее. Ее принимали совсем не за то, кем была она в действительности. Глядя на нее, каждый сказал бы: вот тщательно взлелеянная дочь богатой семьи, не знавшая еще никогда ни нужды, ни горя.

Госпожа Мануйлова гордилась Лидой, не, переставая однако же ее «воспитывать», то есть указывать на малейшие промахи, предупреждать возможные ошибки.

С ними ехал попутчик – мистер Райнд, с которым госпожа Мануйлова познакомилась недавно. Он плохо понимал по-русски и искал случая быть с русскими и говорить с ними. Это был тот самый мистер Райнд, который присутствовал на благотворительном базаре, но ни он, ни Лида не узнали друг друга. Он занимал купе первого класса, Лида и ее учительница ехали вторым.

Мистер Райнд был одним из тех людей, которые обладают открытым лицом, готовой для всех улыбкой, которые необычайно разговорчивы, радушны, просты в манере, в обращении с людьми – и, несмотря на это, или благодаря именно этому, кажутся подозрительными, даже таинственными и в осторожных людях вызывают желание держаться от них подальше.

Он называл себя путешественником. Китай знает все типы путешественников, все их разновидности, существующие и существовавшие на земном шаре. Не говоря о тех, кто приезжает с откровенной целью учить, делать деньги или учиться, тратить деньги, проповедывать науки или религии, – в недры Китая проникают и совершенно изумительные особи, путешествующие с самыми поразительными, разумными или уж и вовсе безумными целями, а то и вовсе без всяких. Самые интересные – с медицинской точки зрения – это путешественники-одиночки, совершающие, например, кругосветное путешествие, катаясь в бочке с железными обручами, или же задавшиеся целью выпить стакан сырой воды из всех пресных озер мира.

О целях своего путешествия мистер Райнд ничего не говорил. Ехал он «в Европу» через Советскую Россию, с намерением останавливаться кое-где по дороге. Первой остановкой был намечен Харбин.

Люди, «видавшие виды» и «знающие жизнь», угадали бы в мистере Райнде одного из тех джентльменов, которые обладают редким секретом: умением во время появиться и во время исчезнуть. Таких джентльменов можно встретить на улицах больших городов, преимущественно столиц тех государств, где беспокойно, где «назревает» что-то, что именно – никто определенно не знает, но приближение и неизбежность чего гее предчувствуют.

Появляется мистер Райнд. Он предупредителен, внимателен ко всем, всегда готов познакомиться, улыбнуться, сказать (на плохом туземном языке) доброе слово, пригласить на обед в ресторан, дать нищему доллар. И все же этот безукоризненный, веселый джентльмен, мягкий до сентиментальности, отзывчивый, как эхо, воспринимается туземцем как черный ворон – предвестник катастрофы. Такой джентльмен обычно не очень молод, скорее средних лет, с проседью. Он всегда прекрасно побрит, его костюм всегда хорошо выутюжен. Если он в очках, то они дымчато-синие. Во всех обстоятельствах его ногти коротко подстри-

жены, и руки совершенно чисты, хотя никто никогда не видал его с ножницами или бритвой в руках. Он, несомненно, делает, по крайней мере, одно (конечно, небольших размеров) доброе дело в сутки. Прислуге он хорошо дает на чай.

И вот именно это здоровье, этот хорошо выглаженный костюм, короче, этот оптимизм и благополучие и делают мистера Райнда чужим, возбуждают неприязнь к нему, выделяют его, как иностранца, в тех больших городах, куда он приезжает, и где уже бросили разглаживать костюмы и тщательно бриться.

Но Лиде всё было ново. Мистер Райнд не вызывал в ней ни одной из подобных мыслей. Он искал ее общества, она была рада собеседнику. Они сразу же подружились.

Китай! Она знала только один его город. Но вот перед ней развевалось меланхолическое величие его полей, холмов, рощ, деревень. «Это отсюда приходят их люди в города»... думала Лида, «из этих низеньких сельских домов, почти не видных за высокими стенами». В глазах Лиды всё обладало прелестью. Под задумчивым зимним бесцветным небом Китай выглядел прекрасно выполненной пастелью, а жизнь там, в тех домиках за стенами, казалась полной таинственности, волшебных секретов. Всё же вместе для Лиды являлось прелюдией к развевывающейся истории собственной жизни, которая лежала перед нею, как волнуемая еще не прочитанная книга.

Мистер Райнд охотно разделял восторги попутчицы. Он постоянно старался быть с Лидой или с госпожой Мануйловой. Они обедали вместе, и Лидино восхищение, ее наслаждение, казалось бы, обыденной пищей, удивляло его.

– Я начала сегодняшний день чашкой кофе, – говорила она, сияя. – И они еще подали мне кувшинчик сливок, сухарики и к ним варенье и масло!

Принимая ее за лакомку, он подарил ей коробку конфет и хотел раскрыть ее, но она смущенно протянула руку:

– Если вы мне дарите, то, пожалуйста, не распечатывайте! Позвольте мне привезти эту коробку Платовым.

Он подарил ей другую коробку конфет.

– Знаете что, – сказала Лида, краснея почти до слез, – позвольте мне сохранить эту коробку для мамы, как подарок из Харбина. У меня нет возможности купить ей подарок.

– Ваша мама любит конфеты?

– Я не знаю. Я никогда не видела, чтоб она ела их. Но как-то раз у нас был шоколад, нам подарила леди Доротея, и мама очень хвалила его.

Никогда Лида не была ни угрюмой, ни завистливой, ни раздраженной или унылой; она не жаловалась никогда ни на что, не говорила об усталости, как все пассажиры вокруг. Мистер Райнд был необыкновенно любопытен, и она обо всем рассказывала, отвечала на все его вопросы: и как умирала бабушка, и как уехал Дима, каков был профессор, как скрылся мистер Сун. Ее расположение к мистеру Райнду возросло настолько, что она и ему рассказала историю своей любви, рассказала все, до последнего слова.

Между тем они продвигались уже по долинам Манчжурии, недавно захваченной японцами. Флаг «восходящего Солнца», с круглым и красным, неприятным для глаз, солнцем развевался над крышей каждого муниципального здания. Флаг этот не был приветлив. Чуждый этой земле, он развевался над нею, как предупреждение и угроза. Он красным своим цветом напоминал пролитую кровь, и яркость его и новизна подтверждали, что кровь эта была пролита где-то тут же поблизости и совсем недавно. Было в воздухе что-то неуловимо большое, в нем были разлиты беспокойство и печаль. Человеческих голосов не было слышно и людей почти не было видно на этих полях, холмах и долинах. И только звуки меланхолической флейты, поющей похоронные песни, плыли отовсюду, из каждой деревни, поселка, из каждой одинокой избушки. Флейта, казалось, сопровождала поезд, не умолкая ни днем, ни ночью. Начинало уже казаться, что эти звуки неотделимы от ландшафта, что поет у рас-

простертых трупов и у свежезакопанных могил не флейта, а сама природа, и звуки поднимаются не от земли, а струятся с печального зимнего неба.

Бедность, разорение, разрушения войны уже были видны повсюду, во всём. Нищета подымала свой скипетр над страной, и население молча уползало страдать в свои норы. На вокзалах видны были лишь японские военные и полуголые на морозе, тощие, запуганные рабочие китайцы.

Да и пассажиры в поезде были не те, что в прошлые годы. Казалось, для большинства это была нежеланная, подневольная поездка. Китайцы молчали. Русские беспрестанно говорили, жалуясь на все и вся. Японцы то и дело раскланивались со своим высшим начальством. Западные европейцы, ехавшие, как обычно, первым классом, были немногочисленны – все какие-то деловые люди, и они сидели, запершись, в своих купе.

Красивая, хорошо одетая Лида казалась заметным исключением на этом фоне. Никто не думал, что она русская. Таких русских уже давно не было видно в Китае.

На одной из станций, уже недалеко от Харбина, внимание Лиды и мистера Райнда привлекла большая оживленная группа. Мужчины и женщины, все темноволосые, смуглые, все невысокого роста, хоть и одетые по-европейски, выглядели определенно чуждыми Европе. Это были армяне. Они оживленно говорили все сразу, вернее, кричали в волнении, жестикулируя не только руками, но всем телом; и вся эта лавина жестов, слов и чувств была обращена на одинокую женщину, стоявшую посередине, как бы в кольце этой наступающей на нее, негодующей толпы. Женщина была в бедной черной одежде, лицо ее было наполовину скрыто черным платком. Три маленьких испуганных мальчика жались к ней в страхе. Все трое большеглазые, кудрявые, черноволосые – выглядели очень жалкими.

Мистер Райнд, увидевший толпу, как и всё в дороге, первым, позвал Лиду. Ему казалось, что одинокая женщина в опасности. Ему также любопытно было узнать, чем такая беззащитная женщина могла вызвать подобный гнев стольких одноплеменников. Лида, увидев происходившее, сейчас же спрыгнула с подножки своего вагона и побежала к группе. Растволкав людей, окружавших женщину, она встала с ней рядом, готовая защищать ее от нападений. Но женщина, подняв к ней свое лицо – маленькое, темное, полускрытое под черной шалью, испуганно смотрела на Лиду. В толпе появление Лиды вызвало изумление, и все как-то примолкли. Мальчики шарахнулись прочь, став по другую сторону матери.

В том, как Лида бросилась и встала на защиту женщины, нечто знакомое почудилось мистеру Райнду. Он уже видел это когда-то и где-то и был смутно встревожен, не будучи в состоянии восстановить в памяти прошедшее.

Вскоре Лида вернулась, уже узнав и причину сцены и полную историю женщины.

Эти люди были армяне. Одинокая женщина, тоже армянка – вдова. Она недавно овдовела, оставшись без всяких средств с одиннадцатью детьми. У нее – вот эти три мальчика и еще восемь девочек. Армяне бедны в этом районе, но они собрали ей денег на билет и отправили ее в Шанхай, надеясь, что тамошние армяне богаче и помогут ей. Они ошиблись в расчете. У тех армян были свои бедные вдовы. И вот эта женщина отдала всех восьмерых своих девочек в Римско-Католический монастырь, в приют для сирот. Затем она возвратилась обратно со своими тремя мальчиками. Армянская колония отправляла ее теперь в Харбин и на прощание выражала свое отношение к ее поступку.

Мистер Райнд не понял сути дела. Почему они так кричат и так негодуют, когда женщина нашла хороший выход из таких тягостных обстоятельств?

– О, мистер Райнд! – воскликнула Лида с упреком. – Эти армяне принадлежат к Армяно-Григорианской церкви, а она отдала девочек в Римско-Католический монастырь – и ее девочки уже католички!

– Но если им грозила голодная смерть... И те, и другие – христиане. Не всё ли равно?

– Всё равно! – воскликнула Лида. – Да разве в вере и церкви может быть «всё равно», если он верит?!

– Терпимость... – начал было он.

– Терпимость – да! – прервала его Лида. – Это значит не ссориться, не обижать, но это не значит менять свою религию на другую. Я их не оправдываю – зачем они так кричат? – но я их понимаю.

Тут, отделившись от группы, к Лиде подошла одна из женщин. Ее лицо было все в слезах. Она заговорила по-русски:

– Мы не хотим ее обратно. Нам не надо изменников. В Армении столетиями и поколениями наши предки умирали за нашу веру. Он завещали нам беречь ее так же, как берегли ее они. Столетиями нас мучили и истребляли турки. У всех нас есть мученики за веру среди дедов и отцов, у всех, без исключения. Мы можем жить только с нашей верой, без нее мы ничто, мы сражаемся, – нас мало, и нас убивают. Мы погибаем... Так вот и идет в продолжении полуторы тысячи лет. Все могут так жить, почему же она не может? – и с новой силой женщина бросилась обратно к группе, крича и жестикулируя.

– Мистер Райнд, – начала в волнении Лида, войдя в его купе позднее, вечером. – Я всё узнала. Знаете, как всё случилось? Они купили ей билет – той армянской женщине – усадили в наш поезд и отправили в Харбин. Мы едем вместе, только она – в третьем классе.

Они ее не приняли обратно. У нее тут не было своего дома, и никто из них не захотел приютить ее у себя.

– Куда же она едет? – спросил мистер Райнд с живым интересом, Лидино возбуждение заразило и его.

– Она едет в Харбин. Там тоже есть армяне.

– Богатые?

Она еще не знает. Неизвестно. Но я лучше опять побегу к ней. Она там одна, и мальчики всего боятся. Я буду с нею, пока они привыкнут. Она немного говорит по-русски.

И Лида убежала.

Перед ужином мистер Райнд пошел по поезду искать Лиду. Он нашел ее в переполненном вагоне третьего класса, грязном и душном. Она сидела около вдовы, двое мальчиков сидели рядом с матерью, а младший – у Лиды на коленях. Ребенок доверчиво припал к ней. На мистера Райнда мальчики взглянули в бок, одним глазом. Лида сидела, обняв ребенка одной рукой, в другой она держала открытую коробку шоколада, ту, что предназначалась для матери, как подарок из Харбина – и мальчики поочередно брали по конфетке и ели медленно-медленно, как их учила Лида. Они ели с таким выражением отчаянной решимости на лицах, с каким, вероятно, их предки сражались с турками за свою веру. Около Лиды стоял на вытяжку русский молодой человек, в форме солдата, какой армии – трудно сказать. На нём: был какой-то анонимный солдатский мундир, цвета хаки. Юноша уступил свое место Лиде – посидеть. И ему, очевидно, была дана шоколадка, так как он медленно-медленно что-то дожевывал. Он смотрел, не отрываясь на Лиду, и глаза его сияли обожанием.

Вся эта сцена – в сумерках – какая была грусть! Но мистеру Райнду, фатально не понимавшему самой сути происходящего, мистеру Райнду с его благополучием и оптимизмом, эта странная и сложная сцена показалась очень смешной, и он громко захохотал.

Глава одиннадцатая

Есть много уже испытанных способов уменьшить население земного шара. Экономическое давление является, пожалуй, одним из самых верных. Конечно, оно действует медленно, но зато оно менее поглотиво и, к тому же, гораздо дешевле, чем, например, война. Маньчжурия получила от японцев и то и другое – и войну и экономическое давление.

Русские эмигранты – в который раз! – были обречены на гибель. Но это было не ново, и уже не интересовало никого, кроме них самих. Японцы запретили им все свободные профессии и не разрешали открывать собственных предприятий. Возможность заработка всё суживалась. «Быть или не быть» являлось для них не риторическим философским вопросом, а практической проблемой каждого дня. Она вставала перед эмигрантом каждое утро, ответ выяснялся только вечером, когда день заканчивался, а человек всё еще был жив.

Не так давно эти русские были полезными гражданами. Они работали и умели работать. Между прочим, это русские построили и железную дорогу в Маньчжурии и города вдоль ее линии. Но постепенно эти же люди, ставшие безработными, превращались в нищих ко всеобщему негоднованию новых хозяев Маньчжурии. Выбор для них был один: лечь и умирать от голода, или встать и уйти – каким бы то ни было способом в любую другую страну.

Но главным несчастьем русских являлось их запутанное политическое положение. Советская Россия их преследовала. Япония обернулась приоткрытой ловушкой, с верной гибелью в ней. Китай держался, как посторонний незаинтересованный зритель. Жизнь человека часто зависела от того, каковыми в текущий момент были политические отношения между этими странами.

И всё же Харбин выглядел еще русским городом и жил интенсивной жизнью. Тут были и русские церкви, и русские школы, больницы, библиотеки, театры – всё это содержалось самим же русским населением. В своем большинстве оно было культурно, и его культура было последнее, что умирало в них.

Лида приехала в Харбин ранним утром. Было холодно, но небо сияло таким нежным, чистым голубым цветом, каким его окрасил Создатель во второй день творения. Кое-где чудесно белели маленькие пушистые облака, похожие на пуховки для пудры. На земле местами лежал снег. На солнце он таял, превращаясь в тонкую стеклянную корочку. Воробьи кружились около стоянок извозчиков, изыскивая средства для пропитания.

По движению и шуму Харбин походил на восточный город – всё в нем имело свой голос, издавало звуки. Но доминируя над всем, всё покрывая, поглощая в себе все другие звуки – и шум железнодорожной станции, и свистки паровозов, и гудки автомобилей, крики извозчиков, голоса людей – разливался, казалось, по всему миру, над всем господствуя, торжественный гул церковных колоколов. Тяжелой волной лился сверху их медный хор, и вдруг, где-то из расщелин этой волны взвивался, вспрыгивал и рассыпался вверх фонтаном брызг всплеск малых серебряных колоколов. Они спешили. Перегоняя друг друга, со стремительной быстротой, весело задыхаясь налету, они то лепетали, то громко выкрикивали миру чудную весть. Но медные колокола не могли уступить им надолго. Они подымали свой голос и вновь погашали и затопляли собою все остальные городские звуки. Это было воскресенье.

Есть особая интимная прелесть в жизни общества небольших городов, неизвестная обитателям столиц и метрополий.

Большой город – неверный друг и жестокий учитель. Он опьяняет, но и отравляет; вызывает жажду и не утоляет ее. Жизнь же в маленьком городе подобна вину из собственных виноградников. С чем сравнить всё то оживление, тот яркий интерес, которым сопровождается не только самое распитие вина, но и все фазы его приготовления. В маленьком городе события предчувствуются, угадываются, о них видят пророческие сны, о них расска-

зывают друг другу. Все знают всех, и все интересуются всеми. Малое событие, преломляясь в стольких мозгах, принимает значение огромных происшествий. Умер человек – его оплакивает и хоронит весь город. Свадьба – одна половина города приглашена, остальные принимают участие в роли взволнованных, жадных зрителей. Растет красавица – ею любитесь весь город. Никто не забыт, никто не затерян. Каждый имеет биографию, даже нищий на ступеньках собора, и он имеет какой-то свой, хотя бы и нищенский вес, его знают по имени, о нем имеется общее мнение, его не спутают с другим нищим на ступеньках того же собора.

В 1938 году Харбин беднел, он разрушался под игом японцев, но он еще сопротивлялся, защищался, он жил. В нем существовали еще две-три очень богатые в прошлом семьи, которые давно уже разорились, но все еще считались очень богатыми. В нем были щедрые благотворители, пожертвовавшие последние суммы лет двадцать тому назад, а их всё еще благодарили. Хранились традиции. Из этого города выходили знаменитые музыканты, артисты, певцы, иной раз известные всему миру. Здесь рождались поэты. Здесь писались исповеди, мемуары, дневники, делались изобретения, измышлялись новые политические и экономические системы. Здесь сохранялись какие-то архивы, и где-то неподалеку был зарыт динамит. Его зарыла наспех, уходя, подрывная команда, и городские мальчишки, вот уже второе поколение – всё искали его. На улице вам пальцем показывали на городского гения; городского шута вы узнавали сами. Были в городе святые, правда, немногочисленные, и грешники по всем отраслям греха. Был пророк от Апокалипсиса и несколько уличных лжепророков. Была известная дама – клептоманка, которую знали все и за нею ходили в магазины наблюдать, как она будет красть. Был замечательный лжец, ни одному слову его не верили, но слушали с упоением, где бы он ни заговорил – на мосту, на углу, по середине улицы – так увлекательно он лгал. Были балы, концерты, оперы, драмы, лотереи, подписные листы, «бочки счастья».

Теперь, подавленный и угнетенный, город всё же не был духовно покорен японцами – он жил, он страдал, содрогался, сжимался, но духовно он оставался таким, как прежде, самим собой.

В этот город приехали наши путешественники, распрощавшись на вокзале. Мистер Райнд на автомобиле поехал в лучший отель города, где для него были оставлены две комнаты; госпожа Мануйлова на извозчике поехала в тот же отель, где ее ждал самый дешевый номер; Лида на рикше поехала к Платовым.

Едва перед нею раскрылась дверь, как раздались отовсюду крики на разные голоса:

– Она приехала! Скорее, сюда! Смотрите, *смотрите* – она красавица!

Лида познакомилась со всеми.

Без Владимира, который жил в Шанхае, в семье оставалось пятеро детей. Глядя на них, трудно было поверить, что все они из одной семьи, так различны были они по виду, характеру и манерам. Старшая дочь, Глафира, была полна жизни, мужества, юмора. Галина была болезненна, застенчива, печальна, неразговорчива. Восемилетняя Мушка выглядела пухлой и бледной, чем-то встревоженной девочкой; всегда голодная, она то и дело спрашивала, нет ли чего поесть. У нее были прекрасные удивленно глядящие глаза, которые каждую минуту были готовы на что-нибудь обидеться и заплакать. Мальчики не походили на сестер. Гриша – золотоволосый и веснушчатый – был душой семьи, всегда занятый тем, чтобы кому-нибудь в семье чем-то помочь. Котик – кудрявый, темноволосый и растрепанный – являл собой мечтателя, сосредоточенного на какой-то растущей в нем плодотворной идее. Это был тип изобретателя.

Но была всё же в них и общая черта, соединявшая их духовно явная в одних, скрытая в других – сила жизни. Все они, хоть и по-разному, были Платовы.

Из кухни – в облаке пара – вышла госпожа Платова. За нею хлынули запахи еды. Все дети жадно вдохнули их: Лиду ждали, в доме готовился *настоящий* обед, все были голодны.

Лида мгновенно была поглощена платовской семейной жизнью, ее интересами. Впоследствии она не могла вспомнить многого из внешней их обстановки: как выглядела мебель, как кто был одет, настолько она была занята ими лично.

Для Лиды не могло быть, конечно, отдельной комнаты, но ей с любовью и заботой приготовили «уголок», и он так и назывался затем долгие годы после ее отъезда – «Лидин уголок». Треугольное пространство отделено было занавеской, сшитой из разных кусков старой материи, но сшитой искусно. На этом занавесе был нарисован плывущий розовый лебедь с непомерно длинной шеей. Над ним порхали бабочки. Рисунок был раскрашен – изобретателем – краской для пасхальных яиц. В «уголке» стояла узенькая кровать. Над ней – икона «Неувядаемый Цвет». На стене – гвоздики для Лидиной одежды. Около кровати – круглая табуреточка на одной ножке. Дети Платовы были внутренне горды роскошью этого устройства и с нетерпением, перебивая друг друга, показывали Лиде уголок, обращая ее внимание на детали.

Главным событием для Платовых было возвращение отца домой с работы. Когда-то он был богатым фабрикантом, теперь же служил в лавке дешевых мехов. Работа была тяжелая, вредная для здоровья, очень плохо оплачиваемая. Меха привозились из Монголии, часто с микробами сибирской язвы. Заболевание ею было смертельно. И каждый раз конец рабочего дня и возвращение домой были благословенным моментом для него, лучезарным – для его семьи.

Сгорбленный, усталый, в жалком заношенном пальто, плелся он домой, неся с собой кислый запах кож и душный животный запах мехов. Но вот он переступает порог своего дома – и его встречают, как короля: он так нужен, так важен для семьи, так любим, так необходим, так ожидаем; он глава, авторитет, законодатель; он обожаем: наш папа! Был настоящий ритуал, давно установленный, для его встречи. Любимица отца – старшая, Глафира, – помогла ему умыться и переодеться в специальном чуланчике, где он сменял одежду, всё, до последней нитки, чтоб не занести в дом заразы. Жена наливала в большой кувшин теплой воды, и Котик открывал коробочку со специальным дезинфицирующим мылом. Галина подавала чистое белье, полотенце, халат; дети стояли за закрытой дверью чуланчика, готовые каждый со своей услугой. Мушка приносила папины комнатные туфли. Пока папа умывался и переодевался, ему живо и нетерпеливо рассказывались домашние события и новости дня. Наконец, он выходил из чуланчика, вымытый, свежий – и его коллективно встречали любящие глаза семьи. Глафира бесшумно подвигала ему стул, и он садился к столу первый – кормилец семьи. Затем усаживались дети. И начинался страстно ожидаемый, священный час дня – обед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.